

# ВРЕМЯ ШМЫ 61 1981

*В ЭТОМ НОМЕРЕ:*

- ПРОЗА А. ТУЧКОВА
- ЛЮБОВЬ ТЕРЕЗЫ ДИ МОН
- ПРАВДА И ЛОЖЬ В XX ВЕКЕ

*Филипп Берман*  
Регистратор  
*Виктор Некрасов*  
Из дальних странствий  
возвратись...



*Илья Левков*  
Советские неофиты  
в Западном Берлине  
*Игорь Тюльпанов*  
Украденная треть души

*В ЭТОМ НОМЕРЕ:*

- БУДУЩЕЕ ИЗРАИЛЯ
- МИХАИЛ БУЛГАКОВ И ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ
- ОДИССЕЯ ВИКТОРА НЕКРАСОВА

# ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖУРНАЛ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ

*Седьмой год издания*

Выходит один раз в два месяца

---

**61**  
**1981**

ИЮЛЬ-АВГУСТ

НЬЮ - ЙОРК - ИЕРУСАЛИМ - ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1981

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	КАРЛ ПРОФФЕР
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ИЛЬЯ СУСЛОВ
МИХАИЛ КАЛИК	ДОРА ШТУРМАН /зам. гл. редактора/
ЛЕВ ЛАРСКИЙ	ЕФИМ ЭТКИНД
ЛЕВ НАВРОЗОВ	

Израильское отделение журнала "Время и мы"

Заведующая отделением Дора Штурман  
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"

Заведующий отделением Ефим Эткинд  
Адрес отделения: 4 rue Paul Bert, 92150 SURESNES  
FRANCE

Представители журнала:

Англия Александр Штронас  
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick,  
Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND

Канада Юрий Лурьи  
305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3T 2N2  
t. (204) 474 9773

Западный Берлин Juswa Mischi Jew  
Hussiten Str. 60, 1000 Berlin 65

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Филипп БЕРМАН  
Регистратор. . . . . 5  
Александр ТУЧКОВ  
Торжественное заседание продолжается. . . . . 44

ПОЭЗИЯ

Леа ГОЛЬДБЕРГ  
Любовь Терезы ди Мон. . . . . 63  
Юрий ИОФЕ  
На земле. . . . . 70  
Лев ДРУСКИН  
Тревожная ртуть. . . . . 78

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА

Дора ШТУРМАН  
Правда и ложь. . . . . 82  
Илья ЛЕВКОВ  
Советские неопиты в Западном Берлине. . . . . 110  
Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ  
Израиль — год 2000-й. . . . . 126

ПИСАТЕЛЬ И МИР

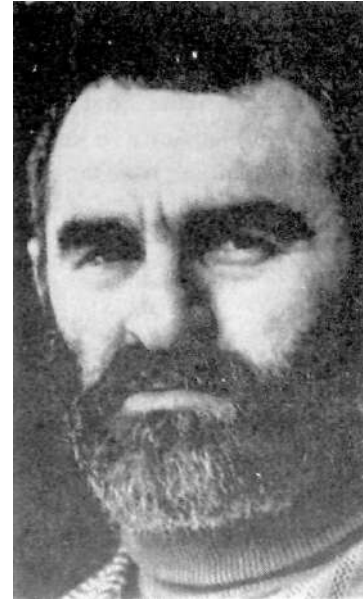
Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС  
Разгром. . . . . 144

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Виктор НЕКРАСОВ  
Из дальних странствий возвратясь. . . . . 165

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

В. ПЕТРОВСКИЙ  
Украденная треть души. . . . . 244



*Посвящаю памяти матери*

Филипп БЕРМАН

## РЕГИСТРАТОР

— Кто это? — спросил Регистратор.

— Перэл, — ответил некто, — в девичестве Перэл Бейгельман.

С матерью впервые за всю жизнь сложились какие-то взрослые, осознанные отношения, мать потихоньку тайком почитывала из шкафа Александра книжки. Митя указывал, что читать, а сам видел, что не знает ничего сам. Школа учила бездарно, прошлое и настоящее не связывались вместе, оставались только отрывочные представления: ни прошлой истории, ни новой, ничего не знал по-настоящему хорошо, не мог объяснить почему. А мать в семьдесят лет начала докапываться, связывала оборванные ниточки времени в узелки, потом все снова исправляла и радовалась. А что у нее было? Деревня, а потом, лет в тринадцать, десятилетка, голод, война, бомбежки, жмых, двое детей на руках, по ночам шила гимнастерки, а потом похоронка затянула ее еще боль-

Отрывок из одноименного романа. Роман выходит в 1982 году в издательстве "Ардис".

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

шей общей бедой, как у всех, еще большей родной болью. От этой последней боли истощилась совсем, едва двигалась, но не верила, по каплям собирала надежду, может кто видел, слышал, где, — не верилось, что так оборвалось, исчезло, что так тихо уничтожалась их жизнь.

Весной, когда начинали стаивать снега, боль вспухала, как и сама весна, вроде бы должно было начаться ее растворение, вот-вот, но весна не наступала.

Однажды запало ей, что он где-то был в близких лесах, был похоронен в сорок втором году, кто ей это сказал, откуда пришло, никто не знал. Мать всю наступившую весну ходила по лесам, приезжала домой поздно, но от этого своего страдания как бы даже помолодела, лицо загорело, стало юным, про Митю и Надю будто забыла, а они были притихшие, чувствовали, что-то с матерью должно произойти. Соседи брали их на ночь, кормили блинами однажды — от этого Митя и запомнил соседей, ту весну и все, что было тогда.

Митя помнил всю жизнь одну их общую с отцом фотографию, от которой потом взбухало горло, им было там лет по двадцать, два вдохновенных лица рядом, выходили из плотного лесного листа. До сих пор Митя тайком смотрел на них, как же они любили друг друга! От глаз до сих пор шло сияние, особенно был прекрасен лик матери, от нее шла такая любовь и преданность ему, такая чистота души, что, когда Митя смотрел, он чувствовал, что все это имеет и сейчас еще продолжение, здесь, рядом с ним и вокруг в воздухе, во всех людях и предметах.

И еще была одна тайна, одно счастливое воспоминание — о чем он и сейчас долго не думал, только иногда кратко вспоминал, — которое произошло той весной. Мать пришла поздно, не зажгла света и стала раздеваться. От уличного фонаря ее черная рубашка просвечивала насквозь, и Митя увидел такую прекрасную наготу, от которой всего его туго стянуло и затрясло. Мать еще долго стояла в оцепенении, глядя в его сторону, и его прекрасное мгновение все длилось. Потом она присела к нему и начала целовать его лицо, и он испытывал расходящееся по всему телу счастье, которое

потом помнил всем своим существом — наверно, всю жизнь и лет до восемнадцати он все ждал, что, может быть, когда-нибудь это повторится снова. Тогда ночью он рыдал, когда она ушла, обцеловав его всего, потом успокоился, но, успокоившись, ясно почувствовал, как было тяжело ей. Он хотел встать и пойти лечь с мамой, раньше они брали его с отцом к себе в постель часто и для него это тоже было особым счастьем быть сразу вместе с отцом и с матерью. Ему хотелось пойти к ней, обнять ее и сказать, что все будет хорошо, отец жив, он вернется, все будет хорошо, но что-то присоединилось к нему сейчас другое, чего стыдился и в чем невозможно было признаться и отчего расходилось по телу застывшее, стягивающее чувство.

Позже мать часто удивлялась, задумывалась над чем-то, как он похож был на отца, и говорила это всем. Митя был во всем, в походке, в привычках, вылитый отец, и Надя вслед за матерью, когда уже отца не было, тоже временами разводила руками и застывала удивленная: ну, как же так может быть? Только Александр посмеивался над этим сумасшедшим семейством: он видел, как мать вставала по-молодому навстречу Мите, когда он вдруг неожиданно, после двухнедельного перерыва, появлялся, как она была счастлива, расцветала. Но если бы Саша знал, как Митя ей доставался, как она его рожала? Как хотела иметь сына, мечтала о продолжении мужа, каждой его черточки, она даже думала ночами, когда они любили друг друга, что даже если Бог когда-нибудь заберет его — она понимала, что думать так нельзя, чтобы так не случилось, — но все запретное отбрасывалось, и она думала, что если так и случится, то останется Митя, останется еще часть от него, от их общего света.

И вот, тогда весной, когда все вспухало, ей все казалось, что он появляется между деревьями, ее влекло невидимой силой, и она чувствовала, что он был здесь, в сыром воздухе между деревьями, но не могла никак коснуться его, все искала руками, телом, встречи с ним, проваливаясь в рыхлый снег... Он вдруг подошел к ней навстречу, обтекая каждую ее часть и застревая в ней своей тяжестью, которая мягко

топла в ее ложбинках, и для нее все тягчела и тягчела его плоть, стягивая ее натуго и прижав к толстоствольной березе, и она каждой своей частью ощущала собственное восхитительное исчезновение. Очнулась она в бугре снега. Она лежала навзничь, потеряв сознание, она упала рядом с толстоствольной березой.

После этого случая она только летом, когда не было снега и земля была теплой, пошла снова в лес, но теперь она уже верила, что он жив, он как будто бы ей сказал, что жив и чтобы приходила летом, когда будет тепло.

Отец вернулся осенью, в сорок пятом году, весь перебитый, но живой, а умер в семьдесят пятом, тоже весной, когда начинал стаять снег. И вот теперь был у нее Митя. На этот раз Митя как раз явился, когда Александр направлялся за картошкой. Надя подавала ему рюкзак, женщины должны были всегда присутствовать и аплодировать каждому его движению. Надя подала ему ботинки, сейчас он их одевал, склонившись боком в обход живота. Когда он был готов, он обычно вставал, делал взмах рукой, как римский патриций, чтобы привлечь внимание матери, мать стала плохо слышать, и кричал на всю комнату: иду за картошкой! Мол, смотрите и учтите, иду за картошкой. Мать говорила Мите: Саша молодец, каждое воскресенье — за картошкой! Как на работу. А Саша, ухмыляясь, уходил.

Митя смотрел на мать: до чего же она подалась! Мать лежала в чистой крахмальной постели, тут уж сестра старалась, оставлять — оставляла одну, а постель меняла часто. На этот раз Александр ушел без римского жеста, беззвучно, может быть, от того, что был Митя, сухо со всеми поздоровался.

С сестрой Митя неоднократно уже ругался: врачи давали ей больничный по уходу, а Надя отказывалась, сидела дня по два, потом убегала в школу, все убеждала Митю, что не может бросить ребят. Митя еще раньше хотел перевезти мать к себе, но район был новым, где он жил, край Москвы: ни телефона, ни приличных врачей, поликлиника размещалась на первом этаже двенадцатиэтажного дома, прямо в квартирах, без переоборудования, в тесных коридорчиках типовых

квартир — ни сидеть, ни стоять, через две недели обои обтерлись, засалились. В новый район мать везти было нельзя. И в поликлинике телефона тоже не было, вызывать врача надо было бежать туда.

Митя еще подозревал, что сестра не хотела сидеть без оплаты, по бюллетеню оплачивались только первые три дня, остальные дни по уходу не оплачивались, вот она и экономила, но вслух Митя ей так ни разу и не сказал. Потом уже стали меняться: то он приезжал, то сестра матери, то знакомые. Митя кричал: брось ты свою школу к чертовой матери! Митя приехал с доктором Аркадием, за доктором нужно было ехать на Юго-Западную — это рядом с сестрой, — но у Аркадия было правило: сам он к больным не ездил, только принимал дома, а если приезжал, то нужно было везти, поэтому Митя через всю Москву, на такси — договорились ровно в восемь вечера — ехал к Юго-Западной.

Дела на работе сейчас шли совсем плохо. Он там почти не бывал, все в отделе хоть и входили в положение, но зав надувался: есть сестра, баба, так ведь и положено, чтобы на ней все было, тем более живут вместе.

С Аркадием он познакомился у знакомых, в какой-то праздник. Потом оказалось, что тот блестящий кардиолог, гипертония, сердце — его конек. Когда стряслось с матерью, сначала обходились районными врачами, те приезжали, прописывали магнезию: стенокардия, да гипертония, лежать надо. Аркадия через знакомых просили приехать. Тот согласился, если за ним приедут и отвезут обратно. Аркадию было лет сорок. Митя все думал: дал бы ему четвертной, нет не годится, — приехать и отвезти обратно. Аркадий вручил ему ящик для построения кардиограмм: несите! Митя следом за ним понес аппарат до машины, думал, лишь бы помог, черт с ним.

Аркадий произвел блестящее на всех впечатление и тщательностью и долгою своего обследования; эта длительность и тщательность наводила Митю на мысль, что он обдумывает всю болезнь целиком, поворачивает ее со всех сторон, и Митя был рад и уже уверен — так решительно и умно вел Аркадий дело, — что с этого дня мать начнет, может быть, даже подни-

матся, ходить. И он не скрывал от себя мысль, правда, разумеется, не произносил ее вслух, что это он начинал это лечение.

С ним вот что произошло тогда, в первый ее осмотр. С матерью они оставались будто теперь одни, ни сестры, ни близких, никого больше не было. Где-то рядом, в дальнем углу комнаты, только был Аркадий, и тот смутно появлялся и исчезал, приходил только на помощь и исчезал. Но та страшная мысль, что в один прекрасный день вдруг все и произойдет, тоже вдруг являлась между ними, чем теснее и ближе они сходились с матерью, и на самом дне души жило еще более страшное предчувствие, до которого он казался, содрогаясь, что их с матерью сближение только и возможно в случае того страшного, неминуемого, что должно было случиться. Их общее счастье друг к другу выросло от приближения этого должно. Он сам представлял это свое чувство будто катящимся вниз, по наклонному полированному желобу, все с большей скоростью и, как он ни стремился хоть как-нибудь удержаться, все безвозвратно несло вниз. И он сам, охватываемый страхом, что это произойдет, и одновременно странной неизвестной тягой, будто бы желал, чтобы все, что должно было случиться, случилось бы, — он будто бы хотел быть там и узнать это.

Он чувствовал, что в нем находится маленький, бестелесный и бесчувственный человечек, как ни пытался Митя его ухватить, тот все исчезал, становясь все мельче, а когда он его настигал, тот растворялся в нем и даже выходил из него невидимым, но был всегда рядом, сбоку, спереди, и поводок будто бы был у самого Мити, но подтянуть и поймать его он никак не мог по иным недоступным причинам; этот некто, этот человечек, невидимый и даже несуществующий, существовал всегда и всегда бесстрастно и жестоко вел, стягивал все в одну точку рационального бестелесного знания. Оно было без чувства, запаха, зрения, без трав, рек и земли, без дождей, эта точка, на самом деле, была разрастающимся пространством без цвета, где ничего, никогда не росло, не исчезало и не появлялось, но все там было наперед

размерено и неизменяемо ничем, некий безжизненный исток, и не Митя подтягивал человечка, а человечек подтягивал Митю все ближе и ближе к этому истоку.

Теперь, после двух недель разрастающегося инфаркта, после отека легких, после остаточного азота, после всего, что мать вынесла, ясно было, что жизнь принадлежала теперь ей. Митя вспомнил, как он две недели назад, может две с половиной, вошел к ней в палату, она тогда лежала вдвоем с Мирзоевой, вспомнил, как она легким быстрым шагом шла, встала легкая, высохшая, в полотняной рубашке, и быстро шла, немного сгорбившись, быстро почти бежала к Мирзоевой. У той как раз начался приступ, она скатилась на пол, и мать бежала сначала к ней, а потом побежала к врачам и в дверях как раз столкнулась с Митей. Господи, как она боялась, что к Мирзоевой не успеют! И еще говорила себе: как же я увидела! Слышать-то слышала, но краем глаза, глядя в окно и думая о Мите, ухватила вдруг, увидела, что Мирзоева всем своим полным телом сползала вниз.

Он вспомнил еще, как давно кто-то звал, кричал на помощь, и никто из целого дома не выглянул, и сам Митя только испугался, хоть было тогда ему лет четырнадцать, может никого дома-то не было. Что тогда было? Может, праздник какой? Ведь не могло же быть так, чтобы никто из целого дома бы не выглянул? А мать распахнула окно и, никого не видя, в темноту кричала, билась с кем-то невидимым, потом выбежала, схватив только платок. Он, испугавшись, тоже побежал за ней, и чем быстрее бежал, тем больше боялся за нее, что ее убьют и больше никогда она не вернется. Кто-то в нем бестелесный повторял все: непременно убьют! Непременно! Все равно убьют, как бы он ни бежал, все равно, чему бывать, того не миновать. Потом он думал: отчего же он всегда так боялся, что непременно что-то с кем-то произойдет, отчего всегда боялась мать, что отец не придет с работы, что он попадет под машину.

Теперь он вспоминал, что до войны, когда отец приходил с работы, как она его ждала, и тут же ясно понял, что вся его детская жизнь была полна страхов: боялся темноты, от

матери передалось, что настанет один такой прекрасный день, когда не вернется отец. Потом, когда отец ушел на фронт, мать с облегчением вздохнула: начиналась совсем другая опасность, общая, тут она была вместе со всеми, и хоть была война, но мать изменилась, как бы раскрылось все ее достоинство, и в глазах — хоть как было тяжело — в глазах был юный блеск. Но как она боялась, что к Мирзоевой не успеют. Сама полгода уже не вставала, дома ее поддерживали, когда вставала, все кружилось и сразу же начиналась боль за грудиной. Нет, сначала только казалось, что начинается или, что вот-вот начнется, но всегда становилось плохо. А здесь быстро поднялась, Мите позже рассказывала, что ясно стало, что Мирзоева умрет, если вовремя не подоспеть, а кто-то в нем опять сказал: нет, мамочка, это ты умрешь, а Мирзоева будет жить еще двадцать лет.

Митя все думал, как же это в нем могло совмещаться: он сидел, гладил ее руки, а кто-то в нем тоже был в это время. Он прижимался к ее лицу и боялся, все ждал, что этот кто-то произнесет снова какую-нибудь гадость, но никто ничего не сказал, и Митя подумал, что, может быть, он ухватил в себе эту мерзость, изгнал, но тут же бестелесный человек вновь появился на самом дне, вместе с дыханием, и он вдруг увидел все-все наперед намного, а тот только сказал: с м о т р и! Как ни пытался он изгнать его из себя, тот все повторял, пока он не увидел все вперед, и с этого момента он уже все знал, только думал, а произойдет ли? Как он ни знал, все не верилось, хотя тут же все начинало осуществляться, и он стремился ухватить своего бесчувственного провидца, но тот никак не давался.

Потом когда он ушел от матери, кто-то тихо позвал юным радостным голосом, он оглядывался все на зеленоватое здание центра, внимательно просмотрел окна, потом голос этот был с другой стороны, но Митя так никого и не увидел.

Когда мать пришла в себя, она, увидев Митю, от счастья даже улыбнулась: он-то был все это время с ней. Но было странно: неужто это было "все", что вот настанет такой миг, когда станет "все" — и что же т о г д а? От всех ее страданий,

от всего, мимо чего неслась ее душа, осталось только неясное ощущение: тогда, все, оттуда! Она только слегка пожимала его руки и улыбалась, что-то ей открывалось, думал Митя, что же ей могло открываться? А ей-то вспомнились весны и зимы, как она ходила все по лесу и все искала и встречалась с ним, встречалась... Но его-то ведь не было? — кто-то спрашивал и у нее внутри, но все в ней говорило: было, он был-то во всем!

С этого дня, еще неделю. Митя, уходя из больницы, все оглядывался, что кто-то тихо его начнет звать, он стоял, пропуская поток машин в сторону Новодевичьего кладбища, но как ни вслушивался, никогда уже ничего не слышал. Слышал только, как мать без страха спрашивала: неужели мне с вами Богом не отпущено больше быть? И ее же голосом кто-то тихо смеялся, потому что этого никак не могло случиться: чем и как ни отмеривай ее жизнь, все было в ней ровным белым светом для всех.

Сейчас почему-то она думала только одно, она себе это говорила, что Бог простил нерожденных ею детей, она даже чувствовала это после того, как сдавливало, несло куда-то. Но что же тогда оставалось? Если простил, что же тогда оставалось? Она вспоминала всю свою жизнь, но не вспоминалось ничего больше, и она успокаивалась, и единственная мысль была только такая, что, когда в ней что-то кончалось, это помогало нарождаться другому, для всех остальных и для ее же детей, и если, господи, было это так, то пусть все как должно быть, так пусть и будет.

Его первая жена как раз приходила в этот дом еще в его счастливое детство /как же давно все было, как прошло много времени!/. Сейчас же вся их жизнь выходила перед ним, будто фокусник выдергивал бесконечную ленту из его внутренностей, а он был как бы только маленьким шариком, который этот фокусник подбрасывал, а поймав, снова начинал выдергивать из него бесконечную ленту, теперь всюду были ленты, вытянутые из его внутренностей.

Митя вспомнил, как выстаивала мать у окна, ожидая его,



все боялась, что не услышит звонка, и все глядела с четвертого этажа во двор, когда он появится, зашагает по двору, а он вместо часа, приезжал в пять, правда, тут было и другое: сестра не хотела сделать еще один ключ — чего она боялась, неясно было. Просто не хотелось и ей и Александру, чтобы был ключ от их квартиры у Мити, отговаривалась тем, что Митя испортит замок, не сможет открыть. Митя вместо того, чтобы врезать ей, все помалкивал, а точно прийти никак не мог, то бежал, выкраивал из редакции, к ребенку, встретить хотя бы из школы, то на почту бежал, отправлял им деньги, а деньги до этого нужно было перезанять.

Но так со всеми его делами получалось, что мать была на последнюю очередь, и, прибегая к ней, он сразу же шел к телефону, кому-то всегда нужно было звонить, дома телефона не было, а из редакции тоже не хотелось, у матери-то он все выгадывал и время, и звонки, обзванивал по своим рукописям и друзьям. Александр говорил сестре: а ты гарантируешь, что он не приведет сюда бабу? Да еще черт знает кого? Александр все выговаривал матери, почему у Мити не получилась семейная жизнь и почему у него вышла с ее дочерью. Он все задавал ей вопросы, а в прошлом, когда входил в раж, то даже начинал кричать, он задавал матери вопросы, как они не настояли, чтобы он не бросил работу. Как же так можно было поступить? Да и как могли они допустить, чтобы Митя разошелся? Он старался выступить в роли благодетеля, устроителя семейных дел, а тайно все злорадствовал: вот не получается у Мити, кишка тонковата. Правда, при сестре к матери не приставал, но было у него два свободных утра, вот в эти утра он мать придавливал, в свободные от лекций часы. Мать говорила Мите: ну что же с него взять, он-то чужой, а вот ты-то родной.

С Александром было несколько случаев у Мити — один из них был такой: лет десять назад из магазина привезли мебель, мать дала пятнадцать рублей Александру, чтобы расплатился, а Митя будто чувствовал, пошел следом, с ним такое бывало, и в коридоре Александра прихватил, но чувствовал, что и сам совершил подлость, когда пошел за ним.

Александр отдал десятку, а пять положил себе, в пижаму, тут Митя ему и врезал, но все осталось молчком: ни мать, никто не знал, только он и Митя, ни отцу, ни сестре ни слова, сестра бы просто развелась бы с ним, думал Митя. Позже, правда, подумал, что нет. Так вот, на мать он даже покрикивал, но стоило появиться Мите, как все стихало, потому что тот мог кое-что вспомнить, и хотя он, Александр, знал, как Митя будет себя вести, но очень уж часто ждал, что встанет Митя и скажет: а вот я знаю про него то-то и то-то, и сядет на место. Он так живо себе это представлял, что хотя и понимал, что имело это вид какой-то детской картинки из школьных лет, будто тебя поймали на том, как ты стирал в табеле двойку, но все-таки непонятно, почему посасывала эта пятерка, которую он стянул у матери, расплачиваясь с грузчиками за привезенную мебель.

Вот что странно: себя Митя не чувствовал дерьмом, а вот Александра чувствовал, а ведь объективно знал, что более равнодушного человека, чем он сам, еще искать надо было. Он еще во сне испытал тайную радость от того, что кто-то вывел и его на чистую воду, хотя там же и для себя оставил спасительный положительный крючочек, что это он сам и вывел себя. В сущности, никто тут не был причем: ни Александр, ни сестрица его — твердо он был убежден, что все они были чужими для нее, хоть и жила она больше с ними, а его-то вообще, никогда не было подолгу, исчезал, пропадал — до тридцати пяти лет только суета. Получалось, что всю жизнь она ждала, беспокоилась о его жизни, а он все никак не становился взрослым: то с женой, то с детьми, то с квартирой, то с работой, то с переходами с одной работы на другую, с его бесконечными увлечениями.

Вдруг он решил стать карикатуристом, обложился ватманом, тушью, бегал в редакции, две недели что-то рисовал на тему о НАТО, о багдадском пакте: багдадский пакт остался без Багдада! Да чего только не было — полное дерьмо, сколько мусору было в голове, а мать все через это проходила, все надеялась, а потом, когда перестала надеяться, что же было делать, все осталось таким же: и дорого было и

больно ей, думала — не красивым надо родиться, а счастливым, даже Александру пыталась это объяснить. А с ключом, который сестра никак не могла сообразить, что сделать, он думал, пусть все будет как есть, а материн тромбофлебит и то, что она простаивает часами, пусть будут на ее совести, посмотрим, как она попрыгает потом, вот это "потом" выплыло из сна тоже большим рекламным плакатом. И тут же во сне Митя стал горячо молиться, хотя никогда не умел этого делать, но он знал в точности, что молился, а молился он о том, что нет, такого не было, чтобы он еще тогда думал: пусть мать стоит, ожидая, только бы сестра потом поняла, попрыгала. Этого не было!

На сестру копилось многое, главное то, что она все не могла уйти из школы, ну хоть на час раньше. Или, вообще пропустить пару дней. Она все отговаривалась, что не может бросить детей, что директор больше не станет ее терпеть. Митя ей кричал по телефону: да ты же дура! У тебя мать умирает, а ты думаешь про каких-то чертовых детей. Вот этого он произносить не хотел, что умирает мать. Он думал, что если хоть раз сказать так, то так оно и будет, но здесь не удержался, выкрикнул и бросил трубку. Но через пять минут снова позвонил. Мать все-таки лежала у нее, надо было как-то договариваться. Надя ему говорила: я не могу уходить с работы, это ты можешь, ты и уходи, а, вообще, мне непонятно, как тебя там держат. Митя сдерживался, а про себя думал: дура! Она все думала о том, кто и что бы кому сказал, чтобы он не смел так разговаривать с ней. Она этого терпеть не станет, он может разговаривать так с кем угодно. Если же он такой хороший сын, то мог бы бросить свою дурацкую редакцию и сидеть с матерью. Митя только сжимал губы, ожидал, когда этот поток окончится, у автомата уже скопилось очередь. Потом снова вырвалось: а если мать умрет, кому нужны будут твои дети? Сложилось все так уже исторически, не мне сидеть, а тебе, ты же ведь знаешь мою жизнь. А если так сложилось, то и молчи! — сказала сестра. Все, что в моих силах, я делаю. Митя только про себя повторил сокрушенно: дура ты, вот что!

Он вспомнил, что когда Надя звонила ему на работу, она все возмущалась: да когда он у вас бывает? Как тогда по телефону, так и сейчас во сне зависло молчание, никто не хотел ничего больше говорить. Но тогда она ему все-таки сказала: я дура, а ты умный. Пусть будет так. И бросила трубку.

Но он все равно был убежден, что все они были для матери чужими. Из-за него мать простаивала часами, из-за него мучилась, а они все были чужими, и это его торжество распространилось во все, даже с оттенком радостной приподнятости. Но тут же подумалось: откуда же радость-то, что ж теперь торжествовать-то, ведь матери-то уже не было — нигде, но они все были чужими, а он нет. Они с ней были близкими, и потому она была где-то рядом, вот это он чувствовал. Даже знал, нет, все-таки не знал, а чувствовал, и тут впервые бестелесный человек, пришедший с дыханием, сказал, впервые он стал на его сторону, да, сказал он, вы были близкими. Да, сказал Митя, я был самым равнодушным человеком вокруг нее, но мы были близкими. После этих слов Митя проснулся от боли в сердце, окно было приоткрыто, стояла теплая-теплая ночь, ну вот, сказал Митя, что ж теперь делать, встать я не могу, телефона нет. Пожалей себя, сказал бестелесный человек, у тебя это хорошо получается. В десять крат, господи! В десять крат, господи! Радостно и торопливо кто-то говорил рядом с головой Мити, в десять крат! И здесь же пришел новый сон. Митя сначала летел, снижаясь над холмистой, покрытой яркой зеленью землей — это луг, но без цветов, только яркая зелень травная, потом он увидел между холмами щель, похоже траншею. Одно он знал твердо, что к щели нельзя снижаться, это плохо, только бы не влететь в щель, поэтому он снова взмыл, но не ввысь, а теперь летел параллельно земле, как всегда, только внутреннего усилия было достаточно, чтобы взмыть ввысь.

Он подлетел к очень красивым цветным церквям, правда, чем дальше он летел, тем более они становились похожими своей массивностью... На что же они становились похожи? Сначала только закралось подозрение, понял он все потом,

самое интересное, что сон этот снился ему, когда мать еще была жива. Сон был так прекрасен, так хорошо леталось, что эту часть сна он даже рассказал матери. Церкви были бело-голубыми, с золотыми и зелеными маковками, окна были раскрашены красным, но вот рядом с ними были вполне современные асфальтовые отмостки, это и насторожило, еще окна, с них-то и закралось подозрение, с этих окон, еще было много коричневого цвета, но церкви были очень аккуратно раскрашены разными цветами, стояли они вплотную, когда кончалась одна стена, сразу же, впритык, рядом, шла другая. Церкви отличались по высоте, но так все были они к месту, по цвету и расположению, что сразу же возникала тоже тревожная мысль, что все это неспроста. Пока он летел, луг тоже тянулся следом перед ним, справа сплошной улицей были церкви с зарешеченными окнами, — вот тут-то все он и понял, что это были тюрьмы, замаскированные под церкви. Потом он оказался в закрытом железном грузовике, который подъехал к массивным воротам, ворота были продолжением всех этих церквей, они являлись как бы въездом в этот церковный город, ворота были распахнуты, и вот в них-то машина стала; глухой, обитый железом кузов был окрашен серой краской, но вот задние две створки не были закрыты, и пока машина стояла в воротах — она почему-то стояла довольно долго, — Митя открыл двери задние и вышел. Никто его не останавливал, никто не звал, легко вышел, при этом во сне он тоже заранее знал, что въезжать туда не надо было, так же как залетать в щель; пока шел, тут-то он и рассмотрел все хорошо, тут-то и раскрылось в полноте коварство строителей, но как все было вместе красиво!

Но самым сильным ощущением ото сна было чувство неожиданности от увиденного после полета над холмами и тюрьмами, замаскированными под церкви, и то, что он был там с мамой. После этого он проснулся. А когда проснулся стал думать, зачем же все это? Как все так складывалось, и не верилось, что ничего не означает, складывалось все как-то даже со значением, вполне определенным, если немного углубиться, то даже возникал некий виток вещего сна, но для

чего там было все, зачем? Дело в том, что раньше сны уже были вещими, например у него с Надей, и теперь он все приглядывался, гадал, к чему бы это?

У Нади был сон перед смертью матери. Она приехала на дачу с пирогом, и он там был, Митя, сестра Надя и Рима, ее дочь. Так вот, Надя /жена Мити, а не сестра/ вытащила пирог, но некуда было его класть, а мать лежала на кровати, и Надя взяла ее на руки, мать сделалась маленькою, а пирог некуда было класть. Надя попросила у Римы что-нибудь дать ей, а та протянула ей в ответ большие рюмки из тонкого стекла. Дома у Мити и Нади были такие для варенья, здесь они были побольше и почти в половину были засыпаны иголками. Тогда Надя сказала ей: как же я могу положить туда пирог? Туда же попадут иголки, на что Рима ответила, что мы всегда так едим, ничего, клади. Но Надя все-таки не захотела. Она стала вынимать иголки из рюмок, и пальцы ее покрылись кровью, а она их все вынимала, и так всю ночь вынимала иголки и держала мать на руках, а мать стала совсем маленькой, она все удивлялась: какая же она маленькая! И когда Надя рассказывала это Мите, Митя чувствовал к ней вот что: вот мы с ней, с Надей, живем плохо, но она, Надя, родная душа, он представил, как нежно она держала мать, как рассказывала о матери, а мать говорила ему: как я люблю Надю! Она мне никогда ничего не говорит, может, я ей не подхожу, ну, а я ее все равно люблю. И вот оказалось, так стало ясно Мите, что ничего друг другу не говорили, а оказалось душою рядом, хотя Надя как-то и говорила Мите, когда мать подарила два кольца: одно дочери, сестре Мити, другое — Наде, что лучшее кольцо она все-таки подарила дочери, а не ей, она не обижалась, но просто констатировала, что это было так. Вот эти слова: более дорогой и красивый камень, были тещины, в точности, ее формулировка — "более дорогой и красивый".

Митя замечал, что к ней вообще все переходило от мамы. Она так же сердилась, покрикивала, все переходило к ней, как садилась усталая, особенно после ссор с Митей,

садилась уставшая и покачивалась, или размышляла, или страдала так, и уже сдвинуть ее ничем нельзя было.

У тещи еще была такая лживая особенность, когда Надя ее спрашивала: как ты чувствуешь себя, та говорила так: лучше всех! Но это говорилось таким тоном, что даже ее собственный муж терпеть этого не мог, вставал и выходил покурить на лестничную площадку, она приучила его курить там. Илья, отец Мити, курил дома, никуда не выходил, всем и в голову не приходило, что нужно куда-то выходить. Так вот, после этих слов насчет того, что чувствует она лучше всех, она еще добавляла, что не имеет обыкновения жаловаться, это было укором тестю, который беспрерывно ныл: у него была язва, и его всегда тянуло к дивану. Еще было в этом, что она одна вывозила весь воз по дому, по семье, и вот ни в чем не было его участия, он только всю жизнь проболел рядом. А Надя, хоть и повторяла мать во многом, но и взбрыкивала временами — сама открыто смеялась над матерью и говорила так: у мамы иногда бывает! Она как бы смотрела на все со стороны, так что Митя даже чего-то опасался, хотя и поддакивал ей кивком или высказывался одобрительно, но что-то тянуло в нем внутри от ее внезапной, неожиданной открытости, от ее холодных оценок со стороны. В истории с кольцом это тоже проявилось, она как бы говорила: имел место такой-то и такой-то факт, вот и все, что я хочу сказать, а дальше смотрите сами, как хотите, так и размышляйте. Митя настаивал тогда, чтобы она изменила отношение к матери, хотя внутри знал, в чем-то она была права, лучше бы вообще было не влезать, хотя так же точно знал, что в чем-то она была и не права. Вот что он еще вспомнил — в это время по радио шла какая-то передача и диктор произнес: артистка оставалась без любимых ролей, а драматург лишился гонорара.

Было ясно, что сегодня тоже ничего не произойдет. Сестре кто-то обещал организовать контакт с инспектором из специализированного треста, правда, за деньги, но обещали только завтра. К сестре Митя не поехал, там снова собира-

лись все родственники. Специализированный трест как раз занимался похоронами, но назывался вполне пристойно и располагался он где-то в самом центре — можно было даже подумать, что это какая-нибудь специализированная механизированная колонна или монтажная строительная организация. И когда Регистратор подходил к дому, сошел с автобуса, один пошел по асфальтовой дороге, вспоминалась вдруг вся его история с женой, может, от того, что шел совершенно один, и так захотелось к ним, что он даже подумал, сесть за стол, попить просто чаю. Сыну было уже двенадцать лет, занимался в музыкальной школе на скрипке.

Однажды он выбрал время, год назад, приехал в школу, разговаривал с Еленой Андреевной. Елена Андреевна знала всю их историю и, видя Митю, тихо про себя сокрушалась, говорила с ним, что из Вовы мог бы получиться скрипач высокого класса: у него абсолютный слух и есть божья искра, все пыталась его понять.

Регистратор взглянул вверх, на свой четвертый этаж. За окном кто-то стоял, он видел это по особому отблеску окна, казалось, что окно блестело иной чернотой. Это не могли быть ни Надя, ни Вовка; вчера вечером, после Востряково, он заезжал к ним, договаривались, что созвонятся.

Пока он приближался, человек уходил в глубь комнаты, смещался, в то же время казалось, что Надю кто-то обнимает: за стеклом было двое. Митя побежал, вдруг все в нем обмякло, задрожало, он решил подняться по лестнице, потому что иначе, если бы его заметили оттуда, то о н и постарались бы спуститься по лестнице, думая, что он поедет на лифте.

По лестнице он взбежал почти неслышно и очень быстро, но так ослабел, что прислонившись так и стоял у стены рядом с лифтом и все думал, как бы не пропустить шум лифта. А у двери снова остановился отдышаться, теперь уйти они не могли, балкона у него не было, он посмотрел в глазок, пытался открыть дверь, но дверь не поддавалась. Потом он испытывал почему-то страх, тут уже все ясно представилось, как все было, и что теперь Надя ушла в маленькую комнат-

ку для того, чтобы легче было справиться с Митей, чтобы его не видеть.

Когда он распахнул дверь, хлопнуло окно, раздался звон стекла. Еще путалось: какая Надя? Жена или сестра? Дверь с силой швырнуло на место. Оказалось, что окна были распахнуты, по комнатам гулял ветер, открывая и захлопывая окна; он бежал в маленькую комнатку, но Нади нигде не было. Из кухни вышли двое: мужчина и женщина; так как свет падал из кухни, а в коридоре не горел, то он все не мог рассмотреть, кто же это был. Они уже вошли в ванную и закрылись там, оказалось, что и на кухне свет не горел, больше они оттуда не выходили, а было уже довольно темно.

Позже, через несколько дней, ему кто-то сказал, кажется, кто-то из правления ЖСК, что в городе П., под Москвой, ограбили сберегательную кассу, и теперь из его квартиры следили за тридцать третьей, где жила любовница предполагаемого грабителя. Он прошел в большую комнату, там стоял его письменный стол, красное кресло и книжный шкаф, на столе оказалась стеклянная пол-литровая банка, в которой он обычно промывал авторучку, теперь она была пустой и чистой, тогда он поставил туда цветы. Кто-то в это время сказал, как будто это слышалось со двора: приезжайте скорей, дома вас ждут цветы, кто-то на улице спросил: эй, Фант, кого там хоронят? Митя лег на диван, в маленькой двенадцатиметровой комнате, когда-то он красил ее сам темно-зеленой краской, иногда хлопало окно, разбитым оказалось большое стекло в маленькой комнате, где он лежал; вроде кто-то бросил в него утюг, так он почему-то думал все время, когда хлопало окно; кто-то позвонил в дверь, но Митя не мог подняться, все еще была слабость, чтобы открыть ее; он лежал, глядя в коридор, кто войдет, ему была видна часть коридора и входная дверь, было уже совсем темно, потом дверь отворилась: оказалось, что это была соседка, армянка Джульета, ей было двадцать два года. Мне нужны соль и спички, сказала она, есть здесь кто-нибудь?

Неделю назад она вышла замуж за Славика. Митя ездил к матери в больницу, потом пришел поздно, свадьба была в

разгаре. Еще тогда, в тот день, когда она пришла его звать, он что-то уже почувствовал. Пришла его звать на свою свадьбу, а было в этом совсем другое, все было так тревожно, обостренно, и когда он пришел, она будто бы специально его ждала, потому что сразу же появилась сияющая. Он как раз целый день доставал бруфен, вернее, рецепт, сначала сообщили, что возле Пироговской в аптеке есть бруфен, он позвонил Андрею. Андрей, к счастью, оказался дома, приехал через полчаса в редакцию, вновь Митя отпрашивался, предупреждал, что только туда и обратно: в аптеку и назад. Но в аптеке нужен был рецепт, причем добавили ему вдогонку, чтобы правильно оформил. Тогда-то он не понял, но позже осознал, что имелось в виду под правильным оформлением. Прямо из аптеки он позвонил лечащему врачу, Зое Андреевне, та сказала, что рецепт будет; от аптеки до первого кардиологического доехали за пять минут, все оказалось рядом.

Надежда на бруфен была такая: Аркадий диагностировал, среди прочего, остеохондроз, позвоночник сжимал нервные окончания и давал имитацию болей в области сердца, бруфен же увеличивал подвижность позвонков, от этой боли мать больше всего и страдала. Когда поднималась, сразу начинало давить в груди и все это соединялось, поднималось с ишимией, с гипертонией, так все вместе прихватывало, что терялась даже последняя прочность тела, уходили последние силы, но самое страшное, что ведь был инфаркт. Его не видели тогда, но он был. И мать с инфарктом все пыталась подняться, и они сами, Митя и сестра, даже поощряли мать, а Аркадий даже заявил, что через неделю она встанет /на следующий день сестра сообщила Мите: встала, пошла, ничего не болит, все это было похоже на чудо, на третий тоже встала, мать сама удивлялась, улыбаясь, но на четвертый вновь стало плохо, встать уже не могла, но Аркадий твердил: она встанет, встанет, выполняйте мои указания/.

Это после первого его прихода предполагалось, что только солевая гипертония, бессолевая диета, и вот весь этот набор средств и все пройдет, и пусть снова встает, это остеохондроз, боли от остеохондроза, да и здесь все только твердили, что был это не инфаркт. Была еще одна деталь: при инфаркте

следовало класть мать в другое, инфарктное отделение, туда же попасть не было никакой возможности. Ангелина отказывалась наотрез, поэтому сомнения, которые возможно было противопоставить, в инфарктной кардиограмме — противопоставлялись, они так и говорили, что кардиограмма инфарктная, но это не инфаркт.

У Мити даже язык не поворачивался перечить, он был рад, что взяли ее хотя бы в это отделение, да и сюда-то тоже благодаря письмам, звонкам и знакомствам. Как убедительно Ангелина Петровна Кузнецова разглядывала кардиограмму, как весомо произносила диагноз, что не инфаркт. От нее исходил особый медицинский блеск, белый крахмально-снежный, точно подогнанный халат только подчеркивал этот внутренний блеск, особую профессиональную элегантность. Митя вспомнил, как в детстве он заходил в аптеку на Малой Никитской и каждый раз, сколько бы раз он ни был там, все рассматривал нарисованную на полированных панелях, на стеклах — всюду, изящную тонкую чашку, в которую вползала тоже тонкая, по тонкой ножке, змейка. Он разглядывал ее головку, ему хотелось, чтобы рисунок был крупнее, он все хотел увидеть глаза, она вздымала над чашкой ядовитую головку. Почему-то он никого не спросил об этом и не спрашивал никогда потом, но и потом его поражало чувство несоответствия между назначением и эмблемой, хотя, конечно же, потом он понял, что это как раз тот яд, которым врачуют, яд, необходимый, так сказать, для жизни. Кроме того, содержалась еще в этом знаке неумолимая жестокость выбора на г р а н и, — оказывается, все это было в краткой изящной эмблеме, но несмотря на осознанное: целебный яд.

Одновременно он подумал вот о чем: почему же он так и не спрашивал никого, как можно было совместить это и, думая об этом, он обнаружил, что и многого другого в детстве не спрашивал, да и не только в детстве. Он будто хранил свое незнание в погребке, оно складывалось в нем, и оттого он многого не понимал.

Он потом заметил, что стремление к непониманию постепенно складывалось в нем в особый вид жизни, он так жил и

так жили многие, и в школе так же учились. В школе: все что велено было заучить, то и заучивалось, а все оставшиеся вопросы складывались в эти самые погребки, крючьями своими создавая нерасщепившуюся тяжелую массу, будто горы металлолома на скрапном дворе, которые можно было оторвать для подачи в печь только полем сильного электромагнита. И потом долгие годы он все выкидывал старые проржавевшие крючья. Так вот, эта самая чашка со змеей придавала чрезвычайно много убедительности и элегантно-го профессионализма Ангелине Петровне Кузнецовой. А как губительно было ограничение воды! Всю жизнь у матери были больны только почки, с тех пор, как родила Митю. Потому спасением сердца уничтожались почки.

Рецепт на бруфен не подписывали, оказалось, что было специальное закрытое распоряжение от кого-то из министерства — не выписывать импортных лекарств /да что там от кого-то, говорили, что от министра, кто ж еще мог бы наложить такой тугой запрет?/, — за них, за импортные лекарства, нужно было платить валюту. Таким объяснением это спускалось вниз; лекарства, однако, закупались малым числом в специализированные, особого сорта аптеки, по-видимому, для особо нужных людей. Но еще более малая часть их бывала и в обычных аптеках, но так их было мало, что выписка их только создавала новые трудности и у больных, и в аптеках. Кроме того, обнаруживалось, что где-то лекарства все-таки есть, что кто-то ими все-таки пользуется, поэтому вроде бы и не было никакого другого выхода, как обходиться своими.

В другой больнице еще лежал заведомом Сажин; Митя, по поручению месткома, заезжал его навещать, специально было поручено ему с расчетом на его теперешнее положение. Так вот, Сажин ему доверительно сообщал после беседы с главврачом, что лечат всех на двадцать копеек в день, больше нажимать надо на психологию, и если б не его, Сажина, алкогольные связи, то язва его рубцевалась бы еще пару месяцев. Все только и говорят: давайте, сможете достать — доставайте!

Митя записал на всякий случай: оксиферрискарбон — Франция, на черном рынке двадцать ампул — четвертной. Чтобы подписать рецепт, нужно было идти к замдиректора центра. Зоя все подмигивала ему, мол, подпишет или не подпишет — неизвестно? И подмигиванием указывались виды для него на будущее, они будто занимались серьезным делом, сознавали важность этого дела, но осмысленностью своих действий, той ролью, которую они при этом играли, как бы наслаждались одновременно с ней. Все это он подмечал в себе невидимой своей точкой, расположенной в самой его неухватливой сердцевине. Из нее шел как бы тонкий лучик, который перескакивал с одного участка его поверхности на другой, пока не создавался полный телесный угол: он охватывал всю внутреннюю поверхность его жизни, вращаясь, переходя мгновенно, меняя направление и только временами гас, пропадая вместе с точкой.

Замдиректора подписала, они спустились в приемную директора на лифте, теперь нужна была его подпись, директор подписать отказался, потребовал, чтобы была непременно докладная.

А кому писать докладную? — спросил Митя, секретарша снова пошла к директору, через десять минут она вышла вся красная, отруганная. Митя с Зоей хотели уже сами ворваться: докладную должна была писать его заместитель, то есть заместитель директора центра Клавдия Георгиевна. Они не дадут рецепта, вот посмотрите, сказала Зоя, потом этот рецепт возвращается к нам, и тому, кто его подписывал, делают втык такой, что потом уж никому не станешь ничего выписывать.

Клавдия Георгиевна была занята на обходе, и Митя сначала посидел с Зоей, но у нее тоже были дела, потом зашел к матери в палату — заходить в это время запрещалось — и он забежал на несколько минут, она вся осветилась лицом, как она улыбалась счастливо! Митя ей знаками объяснял, что он достанет ей бруфен, что сейчас пока еще его нет, но еще немного, и все будет в порядке. Он ей все показывал, что она станет ходить, что он сейчас побежит с Зоей вниз к директо-

ру, тот подпишет рецепт, что в аптеке он уже договорился, к тому же еще спала Мирзоева, поэтому кричать он не мог, еще боялся, что услышат в коридоре, а мать тоже знаками показывала, что не надо с ней разговаривать, только чтобы он не кричал, даже если она не понимает что-нибудь — пусть он только побудет с ней, пусть только смотрит, он ей потом расскажет. Она гладила его руку, а он смотрел на синюю вену на ее легкой, быстрой руке, поцеловал тогда ей руку, нет, это она сначала поцеловала его пальцы, она пыталась приподняться, чтобы поцеловать его пальцы, тогда он нагнулся к ней, прижался к ее щеке, а она поцеловала его пальцы и, как во сне, стянуло горло.

Но тогда, в то мгновение, нет, не думал Митя, что всего еще осталось несколько дней, и потом будет все. Правда, Мирзоева с жестокостью, свойственной больным людям, сказала, — это было в те же дни, он тогда прибежал на полчаса, принес компот и все посматривал на часы, торопился в библиотеку, — так вот, она сказала: а вы ведь мать потеряете, если вот так будете бегать. И тогда он знал, что это правда, потерю, но вот, именно в эти дни никто внутри Мити не говорил, что мать умрет. Он даже сам пытался спрашивать у него, и было как-то спокойно: все, что появлялось на дне души в эти дни, исчезло, и он даже думал, что все, теперь он избавился от этого неухватливого жестокого видения. А тут, вместо всей этой гнуса, была Мирзоева. Потом еще раз она говорила это сестре, сестра из-за чертовой школы приходила только дважды в неделю, поэтому ей Мирзоева говорила это с большим удовольствием, и вот в отношении сестры говорить это Митя считал правильным, он почему-то тогда подумал: пройдет шесть месяцев после смерти матери, и сестра еще цветной телевизор купит /а сам-то что через шесть месяцев?/, тут же поймал себя: как легко подумалось, как быстро и без боли! Теперь уже не было бестелесного, исчезающего, что вызывало отвращение к самому себе, сейчас ничего этого не было, работало едва уловимое, но точное размышление: как легко подумалось о смерти!

Он остался, на библиотеке поставил крест, и хоть остался, а все-таки тянуло уйти, потом проснулась Мирзоева, и Мирзоева сказала: посмотрите, как ваша мама счастлива. Мать этого не слышала, а показывала на сына и гордилась им, нет, не считала она его неудачником; он ломал свою жизнь сам, думала она, и сам он за это платил, он платил душой, он жил так, это была его судьба. У нее, у Мити и у Ильи была своя судьба, у всех у них была своя судьба — но ведь не у каждого она может быть. А у Мити была, она верила, что многое еще должно было проявиться впереди — и она вся светилась своей душой, глядя на него. Потом, вечером, он досиделся даже до десяти, его выгоняли, толстая тетка в белом халате. Мать говорила: обязательно поцелуй Надю, Вову, обязательно зайди к ним! И вот когда прощались, было одно мгновение: ему по-настоящему стало больно, мгновенно набухло горло, и еще присоединилось к этому чувство такое: он был счастлив, что остался, что весь вечер они были вместе, что еще несколько часов прибавилось к тому сроку, когда он был с ней вместе. И когда шел домой, чувствовал себя впервые за много лет светло и чисто, и он подумал, что, возможно, это было единственное мгновенье в последние годы, когда он жил, как надо ему самому.

А вот сейчас он забежал, и она уже показывала: уходи, уходи скорей, заругают... А Зоя ему говорила, когда они шли, какая же у вас мать! Мирзоева всех обхаживала коньяком да конфетами, дочь вышла за немца из ФРГ, Мирзоева называла его: мой зять-фээргешник, как же они там жили, в этом проклятом капитализме! Мирзоева все возмущалась, что страна, которую мы победили, жила бы лучше нас, чтобы так жила! Дочь Мирзоевой приезжала, отхаживала мать, и теперь батнички, джинсики и прочее капиталистическое обольщение, которое посылал зять-фээргешник, потихонечку переключивало к медперсоналу задаром, за свою номинальную стоимость, по ценам сертификатника, поэтому девочки все из рук выхватывали с благодарностью. Дочь Мирзоева при этом благородном одаривании — все это происходило в палате — всовывала в руку американскую жеватель-

ную резинку, и все отделение: сестры, и даже Зоя, постоянно что-то жевало. Но Зоя, — жуя резинку, об этом как раз был разговор, пока они ждали лифта с Митей, — жаловалась Мите, как же она всем обрыдла за два с половиной месяца, как была капризна!

Митя, надо сказать, тоже не удержался и все пытался, как советовала Мирзоева-мать, начать хотя бы с конфет — достать самых лучших конфет /теща его говорила — одаривать нужно только самыми дорогими и только конфетами первого класса/, взять дорогих коробок и принести в больницу, был еще хороший повод: надвигались праздники, Первое Мая; он хотел начать с этой самой стервы-завотделением, но она, хотя и благодарилась за поздравления, лучезарно улыбалась прекрасными белыми зубами, но коробку не взяла! Митя засунул ее обратно в портфель, к остальным трем коробкам, намеченным к раздаче. Из четырех ему удалось всучить только одну случайной какой-то сестре, скорее для того только, чтобы не приносить это домой /ему казалось, что если он принесет их домой, то все, что было назначено отдать — надо было раздать, и в этом таился признак ее жизни — отдаст он или нет/, но остальные коробки никто не хотел брать, ни Зоя, ни врачи.

У Мирзоевой брали, а у Мити не хотели: с Митей и с его матерью были какие-то иные отношения, а какие? Иные, думал, потом Митя, а мать упустил! /Все должны быть только лично заинтересованы, только лично, тогда спасут, но как было это сделать? В этом, по-видимому, состояло особое искусство современной жизни, чтобы уметь заинтересовать всех лично, но так, чтобы выглядело все это прилично, от добрых искренних отношений, а не по каким-то другим причинам/.

Митя все думал: как бы пригласить к матери крупного специалиста-сердечника Сырчикова, что сделала Мирзоева, после чего в отделении произошел скандал, несмотря на все подношения, и зав. отделением, и врачи возмущены были тем, что им, вроде бы, выказали явное пренебрежение этим



недоверием. И сестра твердила: ни в коем разе никого не смей приглашать!

Сырников явился как частное лицо, предварительно предупредив, чтобы сделать все так, чтобы никто в отделении об этом не знал, но его, естественно, узнали, за что потом и отчитывали и Мирзоеву, и ее дочь. А они говорили Мите: главное нам, чтобы быть уверенными, что у мамы все так, как они говорят, им только дайся в руки, а мы как-нибудь переживем их ругань. А вот Митя не смог этого преодолеть, было как-то неудобно. И эта атмосфера неудобства была здесь во всем: в самом, казалось, здании, в облике врачей, в повадке всех выпирала гордая, незапятнанная, белоснежная репутация стопроцентной безошибочности. Главное, что читалось среди всех этих лиц, была гоношистая непогрешимость — во всем! И все, кто лежал здесь, выздоравливая или умирая, все находились во власти этой гоношистости. Думалось потом, что посмотри ее Сырников, мать бы ж и л а, она бы была сегодня, и еще, может быть, много лет на земле, и все это только зависело от того, посмотрит ее Сырников или нет, только от этого, ведь не мог же он просмотреть инфаркт. Как раз после прихода к Мирзоевой, всего через несколько дней, произошло с матерью: Сырников был в пятницу, а с матерью случилось во вторник, только три дня!

Наконец Клавдия Георгиевна написала докладную, которую секретарша все не хотела нести к директору. Пока они с Зоей бегали, директор, вообще, запретил брать какие-либо бумаги по поводу импортных лекарств и просил никого не пускать к нему. Прямо про них так не сказал, но это означало, что — их. Митя и Зоя, не сговариваясь, разом открыли дверь директорской, там была еще вторая дверь. Зоя ему еще подмигнула — тут уж и она не стерпела — а директор, увидев их, был даже вежлив, сразу все подписал, правда, вторично все прочитал. Он посмотрел внимательно на Митю. Клавдия Георгиевна звонила, сказала, что мать Мити лежит с важным письмом, Митя это прочитал в его взгляде и подумал: вид у меня, конечно, не тот, но ты, подлец, все-таки подпишешь!

Вдруг захотелось остаться с ним и беспрерывно мешать ему, рассестись в кресле, напротив, и все выложить, что он о нем думает, сжать его, давить, оборвать к чертовой матери все его бесконечные телефоны, запереть дверь на ключ, сорвать с него фирменные затемненные очки, взглянуть в глаза и все выложить, все, что думает. Но Зоя потянула за рукав Митю, — подписав, директор улыбался и протягивал ему бумагу.

С бумагой Митя поехал в аптеку, Митя чувствовал горечь, ничего не хотелось говорить, ни делать. В аптеке бумагу рассматривали чуть ли не на свет, и убедившись, что все печати были на месте и значились все подписи, принесли бруфен. Две пачки. Из аптеки Митя снова примчался обратно, прорвался через кордон теток в белых халатах, внизу, влетел в лифт, следом какая-то из теток бежала за ним, но захлопнулись дверцы лифта, он торопился поскорее нажать на кнопку этажа и успел. Он поставил пачку бруфена на столик: мать спала. Мирзоева сказала, что только что уснула, вторую пачку оставил в портфеле. Потом долго смотрел, как она спит, и так почему-то не хотелось уходить. Митя вглядывался в нее: лицо было усталым, теперь, во сне, явственно проступала усталость от борьбы за жизнь — в том, как безжизненно расслаблена была кожа ее век и как тяжело, распластавшись, лежали ее руки. Мирзоева тоже прикрыла веки, сначала она смотрела на него, чего же он сидит, потом прикрыла веки, повернулась тяжело к стене и тут же заснула, будто никого рядом не было.

Митя подумал, что вот это сейчас все и происходит, пока все спят: таинственные силы носятся, витают вокруг нас и перетягивают, перевивают все жизни между собой, делятся между собой, кому что, стягивают последние узелки, которые ни зубами, ничем уже не разоймешь после, а рванувшись из последних сил, только оборвешься сам, и ничего уже нет, только несешься среди всего и не знаешь, был ли ты когда-нибудь или нет. Когда же просыпаешься, все уже решено, а мы откусываем яблоко, читаем газету, разговариваем с сосе-

дом, возмущаемся и негодуем, что не так устроен мир, а все уже заранее решено, свито в узелки и неведомо нам.

На следующий день оказалось, что бруфен стянули. Он стоял на тумбочке, еще утром его видели, а к обеду следующего дня бруфен исчез. Зоя думала, что Митя это знает, когда он звонил, виновато сообщила, что бруфен пропал. Было подозрение на няню, взять мог только тот, кто знал, что это дефицит, или у кого у самого была такая болезнь — у няни, как раз, тоже было что-то с позвоночником, но ее спрашивали уже, а она отказывалась. Митя промолчал, была еще одна пачка, теперь думал: хорошо, что не оставил все, но пачку решил прижать — пусть сами попрыгают! И вот два дня, пока они прыгали и доставали, он все помалкивал, а пока мать лежала без лекарства, и эти два тоже пока прибавлялись в ту копилку, куда складывалось все к последнему итогу. Бруфен принес свой один из врачей. Зоя говорила: ну что же делать? Вениамин Исаевичу пришлось отдать свой, было его дежурство. Но Митя сам грешным делом думал на Мирзоеву, не на мать, а на дочь: он так все и представлял, когда мать спала, пришла к Мирзоевой ее дочь, та дочери все рассказала, как он быстро достал, что это жуткий дефицит и что хорошо бы и ей достать пачку, а бруфен стоял здесь же, на тумбочке, он даже представил, как она быстро, энергично встала, положила бруфен к себе в сумочку и возвратилась — она дочь ее, была очень решительной женщиной.

Регистратор взглянул вверх, на свой четвертый этаж. За окном кто-то стоял, это виделось по особому отблеску окна, казалось, что окно блестело иной чернотой. Пока он приближался, человек уходил в глубь комнаты, казалось, в то же время, что он кого-то обнимает: за стеклом было двое. Он побежал, решил подняться по лестнице, потому что иначе, если бы его заметили оттуда, то они постарались бы спуститься по лестнице, думая, что он поедет на лифте. Он взбежал почти неслышно, тяжело дыша, дверь не поддавалась, будто кто-то ее держал с той стороны; плечом, всем телом, он с трудом преодолевал чей-то подпор. Потом внезапно она рас-

пахнулась, хлопнуло окно, полетели какие-то листки, раздался звон стекла, дверь с силой сама захлопнулась, хлопали окна. Двое ушли в ванную, его никто не замечал, он прошел, лег на диван в маленькой комнате и видел теперь только входную дверь.

Пока он так лежал, не чувствуя и не зная ничего, на улице раздались звуки торжественной, медленной музыки, и неожиданно ясно Регистратор понял, что кто-то умер, его неподвижность соответствовала неожиданной ясности его мышления; на улице кто-то спросил: слушай, Фант, кого там хоронят? Он прошел на балкон, под ним была асфальтированная площадка, на которой две девочки играли в бадминтон, волан летал от одной к другой, будто независимо от них, самостоятельно, не опускаясь вниз, бесконечно долго. Он закинул одну ногу на барьер, но сил не было, перевалиться туда он не смог, он упал на кафельные плитки балкона и долго так лежал, ощущая приятный холод бетона. Джульета расстегнула ему рубашку, раздела, здесь же на балконе умыла водой, поливая из ковшика, и, умыв, перенесла на жесткий детский топчан, который стоял здесь же.

Регистратор думал: зачем она вышла замуж? Он отказался, так и не пошел на свадьбу и всю ночь спал, снились ему только сны, но никакой свадьбы там не было, там было, пожалуй, все, кроме свадьбы.

Теперь, лежа на диване, он видел, что пришла Джульета, он снова все вглядывался, но не мог точно рассмотреть, был ли кто еще там. Джульета как бы вся утяжелялась книзу, расширяясь сразу в бедрах и, начиная с бедер, плотность ее стекала вниз, в ноги, и оканчивалась в ее округлых пальцах небольшой плотной стопы, которую он потом долго рассматривал, а вверху, наоборот, все было легко, подвижно, легкие руки, узкие плечи и небольшая, естественными бугорками, без поддержки, грудь — все как бы стекало сверху вниз, и там, останавливаясь, уплотнялось и застывало избыточной, но гармоничной формой. Он помнил, что встал и подошел к ней, она еще повторила — это он помнил, — что ей нужны спички и соль, соль и спички, отчего он только понял, что она пришла к нему. Он вспомнил, что муж ее доставал по боль-

шому благу сигареты, даже "Марлборо", при случае всегда вынимал их, спичек не было, была зажигалка. Она почему-то решила, что когда войдет к нему, то скажет: соль и спички. Он все вглядывался, все искал тех двоих. Джульета сделала шаг к нему, обвила его шею руками и прильнула к нему вся, всей своей стекавшей с нее тяжестью, сначала они так стояли, а Митя думал: господи, зачем же все это? Где же те двое? Муж-армянин в это время пил из хрустального бокала вино, мужчины ели зелень, в больших ярких тарелках, она лежала на столе — киндза. Потом Митя почувствовал, как с ног всего его охватывают ее руки, со всех сторон, сбоку, спереди, всюду была она, обтекая его, все ее ложбинки стягивались к нему все плотнее, и он чувствовал, как он заполняет их собой, а бугорки и ложбинки перетекали в новое теперь место, и он их снова заполнял и радостно сознавал, что он погружается в них, как это все было родным! И как знакомо счастливо чувствовалось, и она всем своим существом искала его, все, что было в ней, устремлялось только навстречу ему, только одному ему, ввысь, пока, наконец, все их вершинки не нашли единственного высшего сочетания. И когда он целовал ее, он чувствовал, как все это перетекало через шею и плечи к сердцу.

Ночью, когда он очнулся, Джульета была рядом, все, что мелькнуло, было верно! Но вот чему он удивлялся: как же было возможно чувствовать все это? Он увидел снова, как упруго и молодо идет мать. И здесь же: как прекрасно было с Надей! Все было вместе: и сны, но все они проносились мгновенно, правда, каждое мгновение содержало все, без обмана, как было прежде. Все было вместе, вся его жизнь укладывалась теперь в это новое измерение, все спрессовалось, и, казалось, конца этому не будет и все через голову, шею, руки, все шло к нему, через его бедра, через плечи... А Надя все шептала: милый, ты чувствуешь, я знаю, знаю, это прекрасно! Восхитительно, ты чувствуешь? Мы прорастаем, прорастаем, с тобой вместе! Вместе с тобою, мы один стебель, одна трава, одна земля. Милый мой, мы прорастаем одним стеблем, одним деревом, одной веткой... одним листом жизни, одним дождем, милый, ты чувствуешь? Я знаю,

вместе со мной, одним телом, одним стеблем, мы с тобой одно... одно тело... одна рука... еще один стебель, еще один лист... дерево... еще одна река, еще один лес, твои руки, твое прекрасное лицо, твое прекрасное тело, твои восхитительные губы! Мы с тобой одна земля, одно дерево... одно небо... дерево, стебель... ветви... одни... одни губы... твои восхитительные руки! Господи, расчлени же меня, твои прекрасные тяжелые руки, ну, пожалуйста, милый, сдави мне грудь, расчлени меня, милый. Я люблю, я люблю! Ну, пожалуйста!.. Одна трава... я счастлива, господи!.. Я счастлива, милый мой, ты мой бог, милый!

Временами кратко возникала их жизнь, но исчезновения их все учащались, все более они пропадали в бесконечность, теряя тяжесть земли. Во-первых, вспомнилось все до мельчайших деталей, вся их жизнь с пятьдесят седьмого года, рождение сына, все в самых мельчайших подробностях и вся его жизнь. Вот и все, подумал Регистратор, все кончено. И зачем была грибная, дождливая осень, волглые утренние туманы и кругом листья, будто все так и должно было быть, влажные темные стволы сосен, полуразрушенная дачка, штакетины забора подгнили, покосились. Теперь-то он осознал: все предвещало это, и неправда, что жизнь наша никем не распределена заранее, не развешена — иначе не было бы ни полян, ни леса, по которому они бродили, ни грибов, влажных, которые вытираешь, как запотевшее стекло.

Поутру, когда он вставал, было прохладно. Чтобы не разбудить, он на носках, босыми ногами, тихо шествовал в переднюю, так же тихо, как шел, прикрывал дверь, потом, в передней, он уже действовал посвободней в движениях и ходил, не стесняясь: дверь была плотно-добротной, но все же не так, как за штакетинами забора, там он уже говорил в полный голос, лес начинался сразу от дома. Он еще тогда думал: надо же такое счастье, и дом стоит в лесу, и так близко от Москвы, но все это к тому, что вот он любит Надю, и она с ним, тоже любит его. Однажды, вспомнил он из своего детства, тоже ранние часы, когда мать его выходила за забор. Как она была юна! Она выходила в лес, ее тихий, доносившийся сквозь дрему разговор, отчего его детский сон стано-

вился как-то сладостнее и тягучее, и сейчас, пока Надя спала, на дне его сознания пробуждалось детство, раннее тогдашнее солнце. Иногда он сам вдруг поднимался совсем рано, в холод, ежился, сидя на бревне у забора, весь сжимался, дожидаясь солнечных лучей, и когда появлялся первый свет солнца, вдруг неожиданно все освещалось, в одно мгновение: у сосен выросли тени, пробежали по траве, будто пожарники раскатывали по траве мотки темных лент, этого радостного мгновения он дожидался: первого света! Это, он помнил, первый раз показала ему мама, и вот, после первого света, он почувствовал необъяснимое состояние, которое сейчас бы назвал умиротворением и счастьем. В последние дни, когда они были вместе, совсем недавно, по его новой мерке, забыв про свое прошлое, он выходил тоже пораньше, за калитку, пока она спала, но незаметно для себя погружался в нечто, будто это он спал там, а не Надя, и одновременно был здесь, за калиткой, в утреннем, влажном лесу, пахнущем грибами. Выйдя из дома, он совсем уже освободился от своей заботы не разбудить ее, он брал ведра, они скрипели, покачиваясь, пока он шел по пустынной тропинке к колодцу, и звук их тоже означал для него начало утра.

Хождение за водой Регистратор любил. Пока он непрерывно качал насосом воду, мощная толстая струя била в ведро чистой прозрачной и движущейся плотью. Потом, поднявшись до края, захлебываясь от нарастающей бьющей струи, вода выплескивалась гладко, будто лакированными пластинками. Он не удержался, окунул руку, ее схватило ломящим, приятным холодом, он тер ладонью по стенкам, хотя ведро было чистым, потом обмыл лицо несколько раз, чтобы проснуться. Рядом с колодцем стояло дерево, часть коры была кем-то срезана. Митя выбрасывал воду на кору и за несколько лет заметил, валик утолщился, оголенное место едва-едва зарастало, но все-таки зарастало...

Теперь он вспомнил разрыв свой с Надей, точнее вспомнил все раньше, когда подумал, что все, наконец, кончено, и вместе с ее льдистостью оборвалось что-то и у него, и она, быстро одеваясь, все думала, как же все это изменить, или покончить разом все, или продолжать, но как? Как можно было

продолжать столько раз принятое мертвящее решение не видеться, не встречаться? Как можно было соединить отвращение к нему со странной тайной тягой, которая неизменно сидела в ней, в коже и ее руках, в ногах? Как сладостно все текло сквозь плечи, спину и руки, и все шло ей, их касание уничтожало все ее многомесячные нагромождения. Странно, что сейчас, после ругани, весь ее антагонизм к нему исчез, и в ее отрицании уже не было остова, на котором вся ее неприязнь держалась, и возникла смелая, даже наглая мысль, которая, подавив все ее прежнее состояние, явно возникла перед ней: почему же они не вместе? Но эта же мысль была одновременно кульминацией ее хороших мыслей о нем. После нее начинался, правда, долгий и пологий, но, тем не менее, спуск к новой, разрастающейся неприязни. Но, пока все исчезало, она все пыталась удержать тепло, поток, который был вокруг нее, хотя он становился все менее осязаем. Странно, что теперь она почувствовала к нему тепло, она как бы видела его своим новым, внутренним светом, который открывался в ней неизвестно откуда, будто из приоткрывшейся внутри, закупоренной всегда железы. И тогда она чувствовала, что в это время становилась другой, совсем другой, и чтобы не терять времени удержать это, она не теряла времени на размышления, почему она так странна сама. Позже, когда это пропадало, она была способна только на мимолетное обдумывание странного своего состояния. Но сейчас она стремилась всеми силами удержать это накатившее и ясное, и если бы он остался с ними на весь день, чего она — даже от себя тайно — желала /вслух не могла признать себе, что желала, хотя одновременно думала, что, может быть, с этого дня и началась бы их новая жизнь/, тогда, думала она, могло бы начаться новое их состояние. Но сколько раз уже загаданное таяло или рассыпалось. Поэтому, не смея ни о чем думать и ни на что надеяться, возникшая от этого в ней горечь разрасталась и переливалась на него, потому что он был тем, кто разбивал ее надежды. Не смея ни о чем думать, она обнимала сейчас все, все, что было кругом, пытаясь удержать, не дать разъехаться, соединить все вместе и

его вместе со всеми предметами, и хотя она была в другой части комнаты и торопливо одевала себя, она обнимала его своим новым притяжением, и касалась его тела нежно, как только они могли это делать вдвоем, и растекалась в нем, отдавая свои губы, глаза, все тепло, и они оба бесконечно истончались, освобождая себя от земной тяжести, и вместе с ним, она совсем исчезала, и все это было вот сейчас, пока она враждебно стояла в углу комнаты. Он в это время чувствовал, что принятое его решение сдвигалось в нем, она и видела, что ей что-то удалось. С горечью она успела осознать: ее полное почти исчезновение вызвало в нем только небольшой сдвиг желаний, а между тем, сейчас было почти достижимо все, о чем он мечтал ночью и во сне и к чему стремилась она тоже в своих снах, но то, что было невозможно всего несколько часов назад.

У Регистратора возникла внезапно, как ему показалось потом, счастливая мысль, хотя сначала она казалась только странной, что он живет несколькими жизнями, настолько, что он будто бы физически воплощен в других людей, проживает одну жизнь за другой, не в разные отрезки времени, а в одни и те же временные интервалы. Жизни эти просто сцеплялись некоторыми, на первый взгляд, малозначащими фактами, что-то иногда мелькало странное, например, он был знаком с теми же самыми людьми, что и ощущаемый им двойник или тройник, была некоторая множественность ситуаций, повторяемость фраз, состояний, в которых он уже бывал прежде. Ночью это был не он, сейчас тоже был не он, а кто-то другой, сам он уже был не здесь, или, наоборот, ночью был он, а сейчас кто-то иной. Раньше ему казалось, что все это уже было в прошлой его жизни, но потом эта новая его догадка свернула все его прежние соображения. Сейчас точно казалось: да, это уже было с ним. и не когда-то давно, а вот здесь же, рядом, правда, тут же возникало сплющивание времени — вхождение прошлого времени в новое, может быть, он обладал свойством улавливать эти мгновения, когда прошлое время входило в то, которым он жил.

Вот так было с мамой, мама была всюду, во всем, и кроме внешних зацеплений словами, фактами, хотя слово совсем не внешнее только зацепление, в слове сидело нечто: объем-пространство, даже материальность всех тех людей, кто когда-либо произносил его раньше, но кроме внешнего зацепления, существовало еще и внутреннее, глубинное зацепление — состояниями, снами, соприкосновениями души, которые тянули, предсказывали, сближали его с ней и отталкивали одновременно. В этом он пока разобраться не мог, но точно догадывался, что в снах он встречался с самим собою, жившим в другой плоти, другой жизнью. В снах была общность и с ней, и его сближение с ней было реально осязаемым чувством двух существ, которые жили на земле, и одновременно совсем иных, чем те, которыми они были в жизни. Но самое непостижимое было то, что иногда и днем он оставался тем же, кем был ночью. Правда, эта мысль, придя к нему, быстро исчезала, хотя в этом, возможно, и содержалось главное и х противоречие.

Иногда ему казалось, что происходит колебание времени, не течение с постоянной тягой. Когда-нибудь гениальные физики откроют это странное свойство, из-за которого многое происходило: одно время перетекало в другое, воронки возникали непредсказуемо, затыкались, переполнялись, кто-то ходил по краю воронки, кто был способен воспринять токи иного времени, поэтому перетекая со временем, он погибал бесследно. Впрочем, нет, появлялось только иное неизвестное измерение, и оттого, что людям оно было неизвестно, это не значило, что его не было совсем, тут же возникла фантастическая мысль: он один это понимал. Он один! И все никак не мог передать другим, и что он один мог только улавливать эти мгновенья сплющивания, уловить множественность. Он подумал про Надю, что где-то в иной жизни они вдвоем создадут редкую гармонию природы, и поэтому навечно останутся соединенными вместе и будут жить бесконечно, как живет природа, создавая свое отражение, пока не создадут неулучшаемое совершенство, хотя природа была сама уже неулучшаемым совершенством.

создающим все миллионы лет мир, стебли, травы и человека. Он знал только, что они любили там и они там были, вместе с мамой! И они любили неизмеряемо. Теперь-то он вспомнил свое недавнее чувство, он видел это чувство, будто катящимся вниз по наклонному полированному желобу, все с большей скоростью, и как он ни стремился хоть как-нибудь удержаться, все безвозвратно несло вниз, и он сам, охватываемый страданием — да, так было! так было! — и, одновременно неизвестной, странной тягой, будто бы желал, чтобы все, что должно было случиться, случилось бы. Это-то и было на дне души, на самом дне души, до чего он касался, содрогаясь, что их сближение только и возможно в случае того неминуемого, что было должно! Он будто бы хотел быть там и узнать — в нем будто проросло иное зерно, и теперь-то он знал, только так можно было все удержать. Бестелесный и бесчувственный человечек, который становился все мельче, теперь сказал: да, теперь ты сам все видишь. Но он почему-то теперь усомнился, теперь у него появилось стремление к новым сомнениям и новому поиску. Собственная множественность давала ему счастливую надежду, что все, что случилось ночью, когда они любили друг друга, когда накатывала странность, — достижимо.

Когда он шел по улице тогда, он вдруг почувствовал, что он прошел через угол дома, вернее, совсем не это, а то, что она здесь шла вчера, три дня назад, нет, не чаще, а три дня назад, он точно чувствовал, что три дня назад, а еще день назад она шла там, и он круто повернул и пошел к овощному магазину, где покупал картошку, потому что она еще всюду присутствовала здесь. День назад, это было ближе к нему, достижимее, и он это чувствовал. Идя так, он слился с ней, и она начала истончаться, теперь он был с ней, и, проникая в нее, он чувствовал, наконец, все неохватное счастье, на которое он вообще был способен.

Надя открыла окно, ей хотелось его лучше, до блеска протереть. В этом блеске и почудилось ему двое /он почувствовал слабость и потом бежал и бежал по лестнице и едва не упал у двери/, и, взглянув вниз, ей показалось, что она взмыла

ввысь, она увидела, как о б а о н и шли вдоль улицы за картошкой, в овощной магазин. Он, как всегда, касался ее плечом, всем своим боком и своим бедром, как бы слегка подбивая ее левую ногу, возбуждая в ней медленно растущее желание забыть про всех и здесь же, на улице, остаться с ним вдвоем, отдать ему свои губы, руки, уничтожив себя полностью, и она вспомнила совсем уже реальную историю из их жизни, как они долго бродили, ругались, он вел ее под руку, руки она не отнимала, будто это был небольшой мостик, который ей не хотелось еще разрушать, но отвращение она испытывала. А после всей ругани и взаимных чудовищных оскорблений все в ней, как и сегодня, менялось, и она вдруг почувствовала такую неотвратимую тягу к нему. Одновременно она страдала, она понимала, что чем-то он пользовался, как-то ему это удавалось, потом ее бесило ее собственное рабство, и все-все она употребляла, чтобы бороться с этим, все-все свои силы! Но сейчас ей было решительно все равно, краткие токи сознания она прерывала; может быть, вообще в жизни все было потонувшим, исчезнувшим, только его руки, его длинные ноги, его пальцы — они долго блуждали по дневному городу, потом нашли глухой, чуть ли не забитый старый особняк, который шел под слом, она оторвала доску, и по кривой узкой лестнице они поднялись на второй) этаж; там была площадка перед тоже забитой дверью и было темно. Он бросил свою новую нейлоновую куртку на пол, она прислонилась к стенке, он судорожно раздел ее, а она, ничего больше не зная о себе, медленно сползала вниз, пока они оба не исчезли совсем, а был-то это дом его отца, когда он уже умер, дом его матери. Но он был забит. Вот так-то. Но они об этом уже не знали. Ее ждали на работе, были какие-то срочные дела, принимались неотложные решения, срочно нужно было сдавать проект, должны были приехать заказчики, но все ушло, пропало. Потом, через несколько дней, нахлынуло, появилось, многое пришлось перекраивать, переделывать, многих она подвела, вызвала недоумение, по ночам она шептала, стремясь вернуть с е б я: ничего не было, ничего не было! Но ее губила и уничтожала мысль,

что это все же было, было! Сладостное воспоминание своего собственного уничтожения на этой жуткой лестнице, а потом и другие вновь вызывали в ней желание, и она просыпалась от счастья. Во сне он спросил ее: как тебе? Иногда он спрашивал ее так, и в самом вопросе было продолжение их близости, как ей было? Было восхитительно! Она ответила, едва раскрывая губы: восхитительно!

Разве возможно сообщить, что чувствовал Митя в одну миллиардную долю мгновенья, что чувствует каждый из вас, когда вы едете, зажатые в автобусе, потом работа, магазин, дети, муж, жена, когда вы каждый день в прекрасном чертовом колесе, называемом жизнью, что чувствуете вы, читатель? Что чувствуете вы, читатель, в беде, когда ваши близкие /одних вы любили, других уничтожали своим презрением, третьих предавали, снова любили/, когда ваши близкие исчезают, и больше нигде и никогда /никогда!/ вы не сможете коснуться их пальцами. Разве можно всю эту часть времени, хотя она есть только малая часть, которая входит в нас, можно ли как-то сообщить, как живет человек, всю эту малую часть времени вместить в отпущенное мне мгновенье. Знаю только одно: если ты любишь, если ты страдаешь ото лжи, если вы стремитесь, как бы вам ни было тяжело, к чистому истоку, к роднику, я знаю, что это есть в каждом, как бы нам ни было плохо, как бы мы сами ни были плохи — тогда вы будете счастливы! Потому что земля — это и есть место, где существует этот божественный исток, и как бы мы ни страдали, какой бы наша жизнь ни была, но есть у нас мать, есть дети, мы можем любить, если мы видим небо, мы чувствуем, — если мы можем страдать, когда тяжело нашим близким, мы счастливы, если мы видим зелень травы, если мы выращиваем хлеб, то это так! И нет никакого другого счастья, нам только дано одно: жить, не уничтожая этот исток, стремясь все ближе быть к истоку, нам нужно только сохранить в себе его для всех! Все это тоже входило в Митю, пока он видел свои сны, когда сжимало горло, пересыхало, когда он сидел в реанимации. Как мать всех любила, господи! И пока неслись ее душа, она все думала: в десять крат,

господи, в десять крат! Если это так нужно для Мити, для всех, для продолжения жизни, то пусть все так и будет, и она думала, что кто-то уже дал им эту жизнь, кто-то уже продлил ее, а там, где они уже были прежде, там был теперь камень, пески, ничего не росло, раскаленные каменные ветра /кто-то перетягивал их в новое место, к истоку/, кто-то, может, сам исчезая, дал уже им эту жизнь, а она умирала для продолжения. Там уже не было ничего, были только пески: ни травы, ни деревца, там не было рек, а здесь все еще было, она стремилась хоть одной каплей пролиться к ним, к Мите, одной травинкой, стеблем, прорасти одним только зерном, чтобы хоть как-то сообщить всем, что она уже знала.

— Кто это? — спросил Регистратор.

— Перэл, — ответил некто, — в девичестве Перэл Бейгельман.



Александр ТУЧКОВ

## ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Мы родились и выросли под знаком зорь — зорь Октября. Еще они назывались революционными зорями, либо очищающей грозой революции.

Других зорь мы не знали. Да и само это слово, отдельно взятое, давно уже ничего не означало, стало анахронизмом, нелепостью. Вроде бы как танцы под духовой оркестр и выклики затейника: "Приглашают дамы!"

Что такое, к примеру, годы? Не могут они быть просто годами, но должны быть либо годами становления и испытания, или годами мирного строительства. Решения могут быть только историческими. Бряцание может быть лишь оружием. Военщина есть понятие отрицательное, вооруженные силы — положительное...

Короче, взяли последний рубеж. Покончили с неразберихой в русском языке, навсегда покончили с буквой "ять". Да и, в самом деле, давно, давно уже пора было крепко дать по рукам пустословию и безответственным, не нагруженным смыслом словечкам типа — заря. Что за заря? Заря чего?

Ничего не понятно. Или утро. Либо уж трудовое утро, либо утро новой жизни. Яснее, товарищ, выражайтесь яснее...

Теперь даже в Одессе, издавна не признававшей ни уголовных, ни грамматических кодексов, можно было услышать безупречно грамотную речь: "Уважаемый товарищ, оставьте этих ваших незрелых мировоззрений, ведь вы же взрослый мужчина..."

Совсем же юные вообще не знали старого сумбурного русского языка. Со свойственной молодости хваткой они оперировали такими современными словосочетаниями и словоформами, что даже бывалые составители пособий и инструкций только диву давались. Они качали седыми головами и говорили друг другу растроганно: "Ну, вот и пора нам, старым бойцам, на заслуженный отдых. В надежные руки передаем эстафету".

Да и сами посудите, почти сто лет минуло со времени славного события на Дворцовой площади. Много воды утекло. Не просто воды конечно, но воды великих начинаний. Весь мир изменился до неузнаваемости. Свидетели начинаний уже ушли в мир иной. И те, которые их ушли, ушли тоже. И осталась лишь история. Здание истории. Отреставрированное, вычищенное до блеска и аккуратно снабженное инвентарными номерками.

В сияющем вестибюле, по левую руку, в помещении № 1 размещались гардеробы. По правую руку, в помещениях № 2 и № 3 — туалеты и экспозиции дооктябрьско-доисторического прошлого. В центре роскошная, отлого взбегающая лестница вела на все остальные этажи, в светлые залы собственно истории...

Выбоины и ссадины на фасаде были зашпаклеваны, иные же заботливо прикрыты противоатмосферным стеклом и обозначены мраморными табличками с золотом разъяснений на них. Бродили экскурсии по анфиладам зал. Бродили под усыпляющее жужжание экскурсоводов. И по ходу логического прослеживания исторического развития даже отчаянному скептику становилось ясно, что самый первый взмах



палицей пещерного жителя являлся началом триумфального шествия человечества к светлому будущему...

Короче, наконец-то все стало на место, все стало понятно и ясно. Дети весело распевали: "Прошла весна, настало лето. Спасибо партии за это". Работники полей с энтузиазмом готовились к весне и лету, заботливо приготовленных для них партий. Поэты пели о туманности партии, украсившей лето полевыми цветами и голубыми небесами. Ученые приглаживали за летом, да и вообще за слепыми силами природы, чтобы те не подвели, чтобы оправдали доверие. Ответственные же работники присматривали за учеными... И так, без споров и сомнений, в едином строю, продвигались в заданном направлении... Как вдруг что-то умерло. Как бывает, клапанчик какой в сердце лопнул и весь организм идет на смарку. Во всяком случае старшины отчаянно ругались с интендантством. Пришла пора смены солдатского обмундирования, а оно не поступило на склады. Интендантство молчало. А если и присылало, то какую-то нелепицу. Либо это были брошюры, освещающие вопросы пола, либо наборы детского белья "Аленушка".

"Во дают, во дают. Уху ели совсем!" — бормотал старшина Евстегнеев, утомленно взглядывая на наборы детского белья. Но особо не удивлялся и не возмущался. "Вверху, им виднее", — привычно думал старшина.

Евстегнеев, вообще, уже давно не удивлялся ничему на фоне того, что происходило с ним. А происходили таинственные вещи, потому как призвали его в армию, в ряды Вооруженных сил. С виду ничего особенного. Всех призывают. Но его призвать-то призвали, а демобилизовать забыли. Не специально, не в смысле репрессий, а просто позабыли и все.

Как Евстегнеев только ни суетился, чего только ни предпринимал. Письма писал куда надо. Собирал подписи свидетелей того, что давно уже отслужил свой срок. Добивался приема к высокому начальству. Короче, включился в борьбу и проявил инициативу. Однако все его документы снова и снова пропадали самым загадочным образом, сведения о том, что он отдал свой долг военнообязанного.

Сначала Евстегнеев думал, что ему кто-то вредит, специально гадит. Но потом, среди бесконечных ночных дум на солдатской койке, стало проявляться это, оно. Неприметное поначалу, но вот все более явственное. "Нет, никто тебе не гадит, — шептал он, радостно ощущая еще смутную, но истину, — никому ты не нужен, не до тебя. Другое тут..."

Одним словом, происходил дурной сон. Бред происходил. И потому уставший от прошений и заявлений, от резиновой стены безвыходности он готов был на все от отчаяния. Однако природа взяла свое. Это только в старину люди седали от необычайных происшествий и теряли смысл жизни. В наше время народ пошел много крепче. Лично Евстегнеев, к примеру, никогда не видел, чтобы в обморок падали, если, конечно, перед этим не выпивши крепко.

"Да, — признавало факт начальство, вызывая его на очередное собеседование, — некоторые неувязки и упущения налицо. Потерпите, — и добавляло укоризненно. — А называть призыв на службу Родине нарушением законности не годится, товарищ, не годится. И потом не третий срок, а просто задержка. Никто не забыт, ничто не забыто, товарищ". После чего ему давали очередное звание, внеочередной отпуск на родину, все негласные привилегии старослужащего. И так до следующей беседы.

И, как всегда бывает в жизни, а не в романах, бред безвыходности сменился вскоре своей противоположностью. Но и более того. По прошествии нескольких лет Евстегнеев поймал как-то себя на мысли о том, что опасается демобилизации. Просто боится. Даже в очередной внеочередной отпуск на родину не поехал, до того испугался. Ведь вкалывать нужно на гражданке, жениться, добывать с боя квартиру, дефицитные товары, путевки, награды, ученые звания. И уже никогда, никогда не придет к тебе славным Дедом Морозом каптенармус с новеньким, положенным по сроку обмундированием.

И это было наступлением зрелости. Правда, тот, внутри, еще ругал его. Обзывал "развращенным рабом". Нотации читал. Смешил. Тот самый, прошлый, недобитый дурачок, еще несколько лет назад лежавший, бывало, после отбоя на

койке, без сна лежавший и мечтавший о демобилизации, как о чем-то не ясном, но светлом, в сиянии чего громоздятся белые корпуса учебных заведений. И пространства сталинских проспектов со стремящимися по ним группами учащихся, аккуратных, открытолицых. И та среди них, светловолосая, в легком, как сон, платье...

Теперь Евстегнеев лишь снисходительно улыбался, вспоминая, с какой ненавистью этот, уже умирающий внутри него, реагировал на незлобивые шутки товарищей. "Демобилизация вам не грозит", — шутил, бывало, взводный. Теперь этот взводный был его лучшим другом, а гарнизон — родным домом.

Порой он встречал тех, с кем служил когда-то, которым повезло с демобилизацией. Разбуженный воспоминаниями, он вскидывался им навстречу: "Коля, дорогой! Николай Васильевич! Сколько зим. Тебя, значит, по новой забрали?" — радовался Евстегнеев и хлопал по плечу встретившегося. Николай же Васильевич отодвигался вежливо и даже с некоторым испугом и отвечал: "Виноват, товарищ старшина, ошибка произошла. Я ведь не Николай Васильевич, а Иван Николаевич".

Таким образом он многих встречал и узнавал, а если и ошибался, так не намного. Это были их сыновья разительной схожести. Сыновья, призванные на военную службу. И тогда ему оставалось лишь побрякивать насчет своего срока службы и, чуть ли не покручивая седой ус, опрокидываться в воспоминания о былых временах, о сортах портвейна, которого уже не найдешь, о папиросах "Беломор-канал", про которые молодые воины лишь слышали от отцов, и о девушках, к дочерям которых они бегали теперь в самоволку.

Так добрался он до звания старшины, т. е. до предела солдатских званий. Получил всевозможные солдатские награды и поощрения. Служба его свелась к самовольным отлучкам и к отдыху от них.

Хорошо выспавшись, бывало, после ночных блужданий, Евстегнеев степенно направлялся в столовую. Не строем и без окриков "за-пе-вай!", а именно степенно, небрежно при-

трагиваясь к козырьку, приветствуя встречаемых офицеров. Родная столовая радушно встречала его гулкими вокзальными шумами, бесконечными рядами столов, убегающими в перспективу и копиями известных мастеров советской кисти по стенам. Он усаживался за отдельный столик для старшино-сержантского состава, прямо под картиной "Василий Теркин пишет письмо турецкому султану". И, пока он расщелкивал портсигар, навстречу ему уже выбежал повар с дымящимися тарелками и аккуратно обслуживал, веселя еврейскими анекдотами.

После обеда Евстегнеев отдыхал некоторое время в красном уголке, прикрывшись газетой, после чего шел по делам. А дела были. Хоть и не такие важные, как ночью, но были. Или, например, надо гражданскую одежку раздобыть поновее, да помоднее. Для самоволок. Потому как на днях пригнали партию бритоголовых детей в лагерь молодого военнослужащего, и старики реквизируют у них все их гражданское шмотье. То надо было сделать еще что-то. Забот хватало. Или к лейтенанту знакомому заскочить. У Евстегнеева с ним был натуральный обмен. Тот снабжал его спиртом, а он лейтенанта — девками. С ним, кстати, у него были очень близкие, чуть ли не родственные отношения. "Ну и вымахал ты, брат" — не уставал удивляться Евстегнеев каждый раз, глядя на него. И это было действительно невероятно. Ведь он знал этого лейтенанта, детину ростом в метр девяносто сантиметров, еще ребенком. Тогда еще знал, когда его из десятого класса забрали в армию, а тот был в пятом. Эдаким жирным колобком катался под ногами на переменах. А тут и вымахал под потолок и офицерское училище окончил.

Короче каждый день был насыщен делами и интересными встречами.

Часов в восемь вечера, сказавшись с дежурства, Евстегнеев опрокидывался на койку отдохнуть малость, чтобы после отбоя отправиться куда повеселее. Выбор был широкий и разнообразный. Можно было, к примеру, податься в женские общежития текстильного комбината. Правда, это было опасное предприятие, но не для него. Евстегнеева там знали, он

был там своим человеком. Если же туда отправлялся новичок, то его могли запросто насильнуть. Девки по общежитию были матерые и отчаянные. Перевяжут беднягу где надо и изымают из него жизненные соки до последнего. Потому ходили человек по десять, не так боязно было. А можно и в деревню неподалеку, на танцплощадку, отправиться. Ремень на руку навернуть, побаловаться малость, а заодно и потанцевать.

Время можно было весело провести. Но все это теперь отпадало, хотя друзья и звали, пойдём да пойдём на текстильный, тебя, мол, там знают. Но Евстегнеев отнекивался. Влюбился Евстегнеев или что-то вроде того. С месяц не бывал в свете, кроме как в поселке, километра за три от гарнизона. Телефонистка там у него завелась. Девка крутобокая, веселая, знающая массу похабных частушек.

Собственно, знал он ее уже очень давно. Еще с тех пор, когда он, чудак, ожидал дембеля с месяца на месяц. К гражданке готовился. Как помнится, алгебру и историю КПСС освежал в памяти. В институт метил. И нервничал чрезвычайно, потому как душой уже был там, дома, в гражданской одежде, с друзьями. Ничего в голову не шло, никакие науки. Казарма осточертела, мечтания разные по ночам заснуть не давали. Тут-то старшина один, свехсрочник, и заговаривает с Евстегнеевым. Послушай-ка, старичок, говорит, есть у меня лекарство для тебя. Нинку тебе пропишу от нервов. В момент успокоишься, а после мне посылочку с гражданки подбросишь. Вспомнишь меня, вологодского. Особливо люблю ваши ленинградские конфеты, "Мишка на севере" называются. Хороший самогон идет, душистый, если с полкило Мишек" подбросить.

Так вот, эта самая Нинка, что тебе передаю, девка отменная, веселая, настоящая телефонистка. Я так по телефону с ней и познакомился. "Чего солдатик, спрашивает она меня как-то раз, чего голос у тебя такой грустный?" — "Как же, отвечаю, не грустить. Служба обрыдла донельзя, да и ты еще здесь женским голосом разговариваешь. Того и гляди хлопчатобумажное обмундирование по швам треснет". — "А ты, со-

ветует она, в снежок, в снежок". Так вот и познакомились. Влюбился в нее с первого слова. Тебе теперь передаю, как самому старослужащему. Нинка, она вообще с молодыми воинами дел не имеет, а только со стариками. Это у нее вроде как боевая традиция. С тех пор как из заключения вышла. Жила где-то в маленьком городишке, до этого в торговой сети работала. И как-то весь ихний магазин проворовался покрупному. Всех посажали, от директора до нее. Она, собственно, и не воровала, самая младшая была в магазине, но для круглого счета и ее на пару лет отправили. После освобождения осела в этом поселке. Все такие в нем оседают. В свой город ведь уже не вернешься, штемпель в паспорте. Виновата, не виновата, кому разбираться охота. Воровка и все тут. Здесь и осталась, в этом поселке. Старослужащих поддавливать начала, кто, значит, на дембель шел. Все надеялась, может, кто женится и увезет куда. Но ведь, сам понимаешь, таких, как она, весь поселок, а рядом еще текстильный комбинат. Так и покатила. Теперь уже просто по привычке стариков выбирает. Надеется еще, бедняга, хотя и отшучивается для проформы, а что, мол, мне молодой военнотрудовой, я еще имя-отчество его не сообразила, а он уже спит.

Так вот и досталась Евстегнееву Нинка. От старшины в наследство.

День этот, последний день, протекал обычно. Заснувши под вечер, Евстегнеев проснулся уже после отбоя. Построение закончилось, офицеры разошлись, дежурный лейтенант завалился спать в красном уголке. Перед тем, как податься к Нинке в поселок, предстояла Евстегнееву еще одна, стариковская обязанность. Построение надо было провести шутейное, шутейный рапорт принять и дать команду шутейного отбоя. Настроения сегодня не было, но отказать товарищам в этом невинном удовольствии он права не имел.

Ровно в одиннадцать некто, назначенный, проорал со своей койки: "Рота смирно, равнение налево!" То есть на Евстегнеева, самого старослужащего, произведенного в чин генерала. "Товарищ генерал! — докладывает некто. — За время вашего

отсутствия никаких происшествий не было, самовольно отсутствующих не обнаружено, весь личный состав налицо". — "Рота вольно", — машет Евстегнеев ручкой из своей койки. И после раздаёт поощрения и взыскания.

Майор Савельев /ефрейтор Савельев/ повышается до звания подполковника за справедливое распределение между стариками получаемых из дома посылок. Капитаны /рядовые/ Петров и Семенов получают звания майоров в связи с отличным окончанием второго года службы и переходом из разряда фазанов в старики. Полковник /младший сержант/ Малашкин разжалуется в старшины. "Товарищи военнослужащие, полковник Малашкин втоптал в грязь свое звание, опозорил звание старослужащего. Его поймали патрули в самоволке. Предлагаю крепко подумать товарищу Малашкину над случившимся. Если вы, товарищ Малашкин, хотите искупить свой позор и вернуть себе звание полковника, вам предлагается сходить в одиночную самоволку на текстильный комбинат".

Переждавши одобрительный гул роты, Евстегнеев зачел список имен молодых военнослужащих, которым предстояло принять присягу. И тотчас началась потеха. Молодых воинов повытаскивали из коек, поставили раком и отбили ложкой по голой заднице двадцать шесть раз, двадцать шесть месяцев службы. После чего новички, получившие звания младших лейтенантов, спешно выпили спиртяги из бритвенного стаканчика и забрались обратно в койки.

Наконец, когда шум веселья поутих, Евстегнеев предложил слово политруку, майору Васильеву /ефрейтор Васильев/. "Сегодня, — объявил он, — товарищ политрук выступит с интересным обзором на тему "Как я сношался с офицерскими женами нашего гарнизона". Обзор был выслушан со всем вниманием, после чего подвергся всестороннему обсуждению.

Размягшая и размечтавшаяся аудитория уже была готова ко сну, когда зазвучала команда "отбой", и оркестр под управлением подполковника Славы Голубева /рядовой Слава Голубев или просто "Слава КПСС", как его звали/ исполнил государственный гимн. Гимн получился. Голубев постарался

сегодня действительно на славу. Сказалось-таки два года тренировки и три порции гороховой каши в обед. Голубев выводил гимн аккуратно, без запинок, со всеми фанфарами и барабанным боем. Разве что под конец чуть петуха дал. Воздуху в желудке не хватило...

Теперь наступил уже настоящий отбой. Казарма спала. Бормотали, матерились спросонок. Храп плавал в миазмах от гимна и портянок.

Евстегнеев же повалялся на койке еще с часик, размышляя о разном, обо всем понемногу и в том числе о своей подруге. Вспоминал. Видел ее ту, давнишнюю, юную еще, которую передал ему старшина. Она еще была свежа тогда, груди у нее стояли, и в глазах светилась надежда. На него надежда. Настолько хорошо было у них. И это был червь, точивший его изнутри. "Ну как, думал он, как я ее с собой в Питер возьму, когда меня ждут там многочисленные друзья и подруги, с нетерпением ждут. Да и мать на порог меня с ней не пустит". Угрызаясь таким образом, укоряя себя в подлости и казнясь, явился к ней Евстегнеев в последний раз. Она не знала, что это последний раз. Пришел, помнится, к ней, а завтра уже демобилизация. Все вещички собраны, все документы оформлены. Пришел веселый, деланно веселый. Выпили, пошалили, а перед уходом он сказал ей небрежно, между прочим, для отвода глаз: "Нинка, пиджачок я у тебя оставляю, до следующего раза. Больно уж жарко возвращаться в нем". И ушел. А назавтра случилась беда. Отсрочили Евстегнееву демобилизацию, какие-то документы затерялись. И больше уж он не видел Нинку. Не до нее было. Началась его печально-смешная заваруха с пропадающими документами. Начались его, до боли в затылке, раздумья по ночам и вопросы: "Почему? За что? Почему я?" От отчаянной жизнедеятельности по инстанциям, он переходил в неподвижную депрессию, от депрессии к философского плана размышлениям о судьбе и предначертанности.

Потом, когда все утряслось, Евстегнеев вернулся к Нинке. И даже не вернулся, но поволокло его к ней со страшной силой. Никого роднее не ощутил. И пошел, стыдясь, каясь и

боясь разноса. Хорошая русская женщина Нинка не удивилась его появлению, не вышвырнула его за двери. Она просто отдала Евстегнееву пиджачишко, что хранила все это время, и дружелюбно заметила: "Вот твой пиджачок, дурак. Никуда ты от меня не денешься".

...И вот теперь, сегодня, будто бы очнулся он. Подобно тяжелобольному, лежавшему в беспамятстве, очнулся и увидел, что все это: и судьба, и невезучесть, и сюрреализм гарнизонных будней, — бред все это. И наконец-то понял природу этого бреда. Это был тихий, веселый кошмар всей нашей жизни. Заливистая шизофрения всесоюзного масштаба. Он даже сел в койке от неожиданности. От неожиданности своего открытия. Он вдруг явственно ощутил перебои в большом сердце гиганта. Может, единственный он и ощутил. Это был старческий маразм, склероз, возрастное отмирание тканей. Гигант, называемый цитаделью, оплотом всех прогрессивных сил, первым в мире государством, где восторжествовало... Этот гигант помирал теперь от тихой горячки.

В ту ночь Евстегнеев бежал, как на крыльях, летел по тропам самоволки. Бежал, ласкаемый по плечам и щекам лунным светом. Как бы подхваченный ветром, ветром нового времени, что ли. К своей голубоглазой телке бежал.

Придя поутру от Нинки, Евстегнеев поразился. В казарме, да и во всем военном городке царил неопиcуемый бардак. Он был, впрочем, и всегда, но в известных пределах, дозволенных уставом. Но теперь... И ветер, тот самый ветер, как бы весенний, голубой с розовым, присутствовал везде. Реял. Проникал в самые затхлые углы: в каптерки, в туалеты, в ленинские комнаты...

Евстегнеев уже направился было отсыпаться после буйной ночи, как его догнал один из сержантов: "Послушай, старичок, ребята здесь, из молодых, прибыли. Месяц, как из Москвы. Мои друзья. Проинструктируй их, будь другом, как и что, а то я в наряде. Они башковитые, с образованием, быстро просекут, где и как сачка давить. Будь добр, старичок", — упрашивал он.

Спать хотелось смертельно, но Евстегнеев согласился. Товарищ был испытанный и верный, не раз его выручал. И он повел ребят по военному городку, вводя их в курс событий и четко рапортуя встречным патрулям о том, что знакомит молодых бойцов с историей и боевыми традициями родной дивизии.

По ходу экскурсии они вошли в огромную казарму, казарму соседнего полка. Это было необычайно широких размеров помещение, с небоскребами коек, разновеличенно возвышающихся. И та же странность. Раньше, бывало, койки аккумуляторными серыми пирогами убегали в перспективу казарменной идеальности, со знаменем у стены и с побеленной печкой в углу. Теперь же койки были разбросаны, знамя неухожено, печку облепили портянки. Свешивались пологами одеяла, валялись окурки, пустые бутылки из-под водки. На некоторых из коек он даже заметил женщин. Занавеси из простыней и возня за ними.

Надо признаться, Евстегнеев несколько обалдел от удивления. То есть уже давно не удивлялся ничему, а тут просто пасть раскрыл, не мог справиться с отпавшей челюстью. И опять этот весенний воздух везде. Чертовщина какая-то...

Овладев собой, он попытался продолжить инструктаж. Они двинулись к окнам, выходящим на широкий плац. И тут Евстегнеев снова вздрогнул, хлопнул себя по лбу: "Э, приятель, да это же знакомое место. Да, да, это помещение, огромное, выходящее на площадь, залитую солнцем. Гигантский двор, построения и передвижения солдат, которые напомнили ему такую же площадь. Площадь далеких тюркских времен. Копошение масс воинов. Слепительное молодое солнце. Солнце молодой истории. И голубой ветер, налетающий в золото дня. Да, он узнал это место. Шатры узнал и разношерстное свирепое воинство во главе с припадающим на одну ногу беспощаднолицым Тамерланом..."

Кстати сказать, Евстегнеев давно уже заметил это за собой. От казарменной безнадёжности или еще от чего, но приступы памяти заметил за собой. Древней памяти. Скажем, внезапное перемещение света и теней, перестроение звуков и вот,

темные подвалы памяти освещаются на мгновение. И склепная мгла этих подвалов обнаруживает замурованные столетиями воспоминания. Так, глянув однажды в ведро с мусором, он отчетливо вспомнил, не увидел или придумал, но вспомнил калькутскую тюрьму, неизвестно какого столетия. Двор тюрьмы увидел, выжженный солнцем, и черные фигуры, валяющиеся по углам тюремного двора. Ведро было желто и черные остатки мусора. Калькутскую тюрьму вспомнил он отчетливо...

Однако его ждали. Евстегнеев продолжил экскурс по всем ходам и выходам, открывая новичкам различные трюки, помогающие без нарушения устава облегчить службу. Но по ходу пояснений вновь почувствовал тот самый сумасшедший воздух весны. Отчетливо ощутил, как его советы повисают в воздухе. Ненужные теперь. Невесомые. Относящиеся уже к прошлому.

Внезапно простыня одной из занавешенных коек откинулась, и некто голый, выскочивший из-под нее, бросился к Евстегнееву и стал обниматься. А еще через мгновение он узнал его. Это был один из тех, с кем когда-то, очень давно, они вместе начинали службу.

Евстегнеев сердечно облобызал его. Вид целующихся военнослужащих, одного подтянутого, полностью обмундированного, со знаками отличия, и другого голого, лишь с природными отличиями, поразил его подопечных. Они в изумлении смотрели на этих двоих. Это совершенно не укладывалось в представления новичков о суровых буднях наших Славных Вооруженных Сил, Но обнимающиеся не смущались этим. Они были слишком дороги друг другу, чтобы обращать внимание на условности. Оба были из Питера, были так дружны. Сколько лет не виделись, и каждый про другого думал, что тот уже давно на гражданке гуляет. Оказалось, с ним случилось то же самое. Его тоже забыли демобилизовать. Документы ли затерялись или еще что-то. Он сильно переживал вначале. После сжился. Ему тоже казалось, что несчастная случайность коснулась лишь его одного. Как-то раз он даже заметил Евстегнеева, но издали. Нет, это не он, думал

приятель. Это от переживаний, галлюцинации от воспоминаний. А может, это его сын удивительной схожести?

Забыв обо всем, они вспоминали начало службы, течение ее, других, бывших с ними. "Да, кстати, — взял Евстегнеева за рукав приятель, — помнишь ли ты ту жестокую сволочь, сержанта Безбатько? Так вот, рассказывали мне молодые, убил его тот чучмек, азербайджанец Ахмед. И поделом. Измывался над ним сержант, как мог. Передразнивал ахмедово произношение, маму его азербайджанскую поминал по всякому поводу. Терпел Ахмед, только, бывало, лбом вопреет и терпит, ни слова в ответ. После, на гражданке, выследил его. Долго стерег. И убил. На пороге хаты..."

"Да, — резюмировал Евстегнеев, — был он только Безбатько, а теперь и вовсе без всего. И безматько, и бездядько, и безтетько. И безблядько тоже. Просто кусок падали теперь. Но послушай, старичок, что за бордель кругом творится, ни черта не пойму?"

Девка приятеля закопошилась под простынями и вылезла наружу. Друг Евстегнеева хохотал и лукаво перемигивался с ней. "Эх, старшина, — сказала девка, мотая грудями, — за блядками-то и историческое событие проглядел".

"Как, да неужели это оно, то самое?.." — остолбенел Евстегнеев.

"Да, старина, оно, — подтвердил приятель, — то самое, что лишь мы, старики, чуяли, но каждый думал про себя — нет, этого не может быть. Просто кислоты в мозгу балуют. А ведь правильно чуяли мы, старики. Только старослужащий первым ощущает весну. Омаразмело все кругом, обесмыслило и рухнуло под тяжестью идиотии и формализма. От безумия рухнуло. С виду вроде и не безумие, с виду все в порядке. Потому как сегодняшний сумасшедший — величайший мастер разыгрывать из себя абсолютно нормального. Не различим, настолько он прагматичен, изобретателен, дьявольски хитер, сознателен, предан... и безумен. Безумия ведь не было как такового в древности в том виде, как теперь, Не было желтых домов. Священное безумие дельфийских жриц или пустынных, а также веселый идиотизм базарных нищих не в счет.

И вот рухнуло, без грохота и катаклизмов, поднявшее при падении лишь тучу трухи, истлевшее...”

Внезапно их беседу прервала команда к построению. Вбежали и засуетились офицеры. Пovyскакивали из постелей сержанты. Однако построение происходило вяло. Слова команд повисали в воздухе, как давешние советы Евстегнеева новичкам. Половина роты вообще не пожелала строиться. Бегали растерянные офицеры, хватались за личное оружие.

“Галька не пускает”, — нахально отпихивался евстегнеевский приятель ногой из-под простыни от наседавшего лейтенанта.

Евстегнеев все ж таки встал в строй. Солдаты стояли вольно, покуривая, почесываясь и позевывая, хотя лейтенанты уже по нескольку раз прокричали: “Смирно!” Вошел седой полковник. Мрачно оглядел строй: “Солдаты! Я обращаюсь к тем, кто встал в строй. При любой власти была и будет армия. Если ты солдат, жди команды. Я не давал вам команды стрелять или убивать. Но покамест я еще вам командир, и команды ковырять в носу, зевать, как слоны, или стоять в строю с расстегнутой мотней, не давал тоже. Извольте подчиняться, пока вам не назначили другого командира. Вот, ты, к примеру, что это у тебя на лице?”

Евстегнеев оглянулся на того, с кем говорил полковник, и вздрогнул, увидев страшную харю. Солдат же горячился, повышал голос, споря с начальством: “Товарищ полковник, вы ведь разрешаете носить усы нацменам. Так вот, у них усы, у меня маска”. Маска Бабы-Яги была гордостью этого солдата. Он и спал в ней и сквозь отверстие ее рта чистил зубы. Одним словом, берег ее как зеницу ока.

Полковник, шатаясь, отошел прочь, вытер испарину лба и сплюнул в сердцах: “Эх, солдаты, солдаты, те же дети, только х... большие”.

Внезапно построение распалось. Развалилось на глазах у командного состава. Нет, нет, это не был бунт. Просто разошлись кто куда и все. Иные из солдат уже снимали штаны и на глазах у офицеров залезали обратно в койки, откуда их весело окликали подруги.

Евстегнеев же не спеша отправился в клуб. Там он застал необычайное смятение. По этажам сновали люди. На одной из лестничных площадок он увидел скульптуры, обтекаемые, сверкающие, влажные еще, из свежеполитой, дышащей глины. Как бы из малахита изготовленные. Тут же, по лестницам, суетились солдаты, несли подрамники, рулоны холста, ящики с красками.

Неизвестно, в какую диковинную форму вылилось бы его удивление, если бы не вышел ему навстречу некто в чине майора. Он по-граждански поздоровался с Евстегнеевым и любезнейшим тоном объяснил ему, что художники гарнизона готовятся к первой зональной выставке. И что его зал, зал живописцев, выше этажом.

И потрепал Евстегнеева по плечу: “Помните меня? Нет? А я вас помню. По отборочной комиссии в армию помню. Помню, как сказал вам насмешливо, что, мол, художественных войск у нас нет, молодой человек. И раз вы не электрик или слесарь, то пожалуйста в пехоту. Придется побегать вам с карабином и полной боевой выкладкой. — И, помолчав, добавил, — такая установка была, старшина. Теперь другая”.

“Какая же? — спросил Евстегнеев.

“Установка по отмене всех установок”, — отвечал майор.

После всего устроили проводы тем, кто уезжал. Полгарнизона было на торжествах. Проводы гуляли на строевом плацу. Выволокли столы из штаба, накрыли лучшими простынями из каптерки. Правда, каптенармус переживал страшно. Поначалу категорически отказывался дать простыни, не понимая момента. Заперся и забаррикадировался в каптерке. “Не жми, — колотили в двери каптерки, — какой же ты политически отсталый элемент. Не бойсь, другие простыни только в следующую революцию спросим”. Каптенармус стоял на страже государственного имущества до последнего, как и подобает настоящему солдату и гражданину. И сдался лишь на команду самого полковника.

Тотчас же столы были завалены выпивкой и блюдами густого солдатского рациона. Все были нарядны, в новеньком

хрустящем обмундировании. Строевой плац гудел весельем. Раздавались тосты, поздравления, пожелания.

Более всех колбасился замполит. Петушился, произносил антисоветские здравицы. Но, быстро нажравшись, стал призывать всех выпить за славу КПСС. Однако слышно его не было, потому что все плясали, смеялись, оглушительно кричали песни.

Печально икал седой полковник, отчаянно грустил, осушая стакан за стаканом. Иногда он восклицал в сторону, где по его предположению находился Евстегнеев: "Уезжаешь, значит? — выпивал еще по одной и ударял кулаком по столу. — Ну и уезжай!"

С другой стороны орал замполит: "Будем крепить ряды наших Славных Вооруженных..." Тянулись к Евстегнееву с бесчисленными рюмками, требовали чокнуться.

А полковник снова отчаивался: "Уезжаешь, значит? Растили, воспитывали, а ты..." Выпивал еще по одной и рычал, круша посуду: "Ну и уезжай к бениной матери!" Утаскивали замполита, волокли в каптерку проспать. Он сопротивлялся, вырывался, что-то кричал о бдительности, о том, что неугомонный не дремлет враг.

Качались над столами разноцветные ленты. Динамики гремели маршевую. Легкие тени облаков пролетали над столами и пирующими. И казалось, это корабль... Бывший корабль дураков, но вот обратившийся в священную дионисову барку. Полную веселья и цветов. Увитую гирляндами цветов барку.

По приезде в Москву Евстегнеев тотчас же подался в реабилитационный комитет. "Товарищи, — воззвал он к реабилитационной комиссии, — уважаемые господа. Не надо мне льгот, пенсий и возмещений. Подкиньте малость деньжат в заграницу съездить. Смертельно необходимо проветриться".

И что бы вы думали? Дали. Подняли его дело и с полуслова поняли. На, говорят, тебе квитанции и поезжай с Богом, проветри кислоту в башке, горе-старшина. А льготы и возмещения все-таки получишь по возвращении.

Он и поехал. Несколько лет гулял по заграницам. И каждый день был за три, как на севере, столько повидал и услышал.

Таких, как он, кстати, множество бродило по Европе и Америке. Раскрывши пасть и выпуча глаза, мотались они по Лондонам и Парижам. С доверчивой недоверчивостью Пятницы щупали мраморы Рима, запрокидывались головой на небоскребы Нью-Йорка. Дивились раздолью, разгулу и ихним дамочкам. А дамочки, в свою очередь, балдели от них и настолько, что, доложу вам, бросили местных лощеных и душистых парней. На евстегнеевых променяли. Ничего не надо было дамочкам, ни негритянской тридцатисантиметровки, ни испанской неутомимости, ни французского изыска. Наших подавай, натуральных, без спреев и дезодорантов. Прямо с грядки. И евстегнеевы, надо отметить, оправдали ихнее доверие. Не ударили в грязь лицом.

И те дни напоминали старые добрые времена, когда русский царь-батюшка стремительно ввел свое мохнатое воинство в Париж. Те дни, когда под цокание конницы и гул пехотных колонн, сотрясала парижские мансарды солдатская песня: "Соловей, соловей, пташечка. Канареечка жалобно поет".

Кричали дамочки "виват" и в воздух чепчики бросали. А солдаты, в светлых усиках на загорелых лицах, подмигивали и продолжали: "Эх ма, горе не беда! Эх, соловей-пташка радостно поет!"

Шествие выливалось на площади, запруженные толпами развеселых, нарядных парижан. Взлетали фейерверки. Гревели пушки в приветственном салюте.

...И в этот самый момент Евстегнеев проснулся. И не столько от пушечного грома сколько от пристального взгляда политрука, майора Иванова.

"Рядовой Евстегнеев, — сурово заметил майор — мало того, что вы спите на торжественном заседании, посвященном нашим Доблестным Вооруженным Силам, но вы еще и пердите?.. Трое суток ареста", — скомандовал он, и тут же



взводный увел Евстегнеева на гауптвахту. Там у арестованного отобрали ремень, острые и режущие предметы, сигареты, личные вещи из карманов, после чего заперли в камере.

Евстегнеев лег на нары, поразмышлял о том, о сем и малопомалу заснул. И приснился ему удивительный сон:

"Мы родились и выросли под знаком зорь..."

Фаина БААЗОВА

### ПРОКАЖЕННЫЕ

*Вышла в свет книга Фаины Баазовой. Автор — юрист и публицист, в прошлом видный советский адвокат, рассказывает о трагической судьбе, постигшей ее семью, семью основателя сионистского движения Грузии и одного из лидеров русского сионизма раввина Давида Баазова. Действие разворачивается в Москве, Ленинграде и Тбилиси. Фаина Баазова пишет о трагической гибели в сталинских застенках своего брата, замечательного еврейско-грузинского писателя Герцеля Баазова, о своем жестоком поединке с советским "правосудием" в Москве и Тбилиси для отмены смертного приговора, вынесенного ее отцу Давиду Баазову. Документальный, взволнованный рассказ Фаины Баазовой о ее хождениях по мукам приобретает еще особый интерес потому, что это уникальные в своем роде мемуары знакомят читателя с неизвестными фактами из жизни Советской Грузии в трагические годы сталинских пятилеток.*

*Стоимость книги — 4 доллара /или соответственно курсу в лирах/. Книгу можно заказать и чеки высылать по адресу: Хулон, ул. Аронович, 47/36*

Тереза ди Мон принадлежала к французской аристократии. Она жила в конце XVI века в окрестностях Авиньона, в Провансе. Когда ей было сорок лет, она влюбилась в молодого итальянца, воспитателя ее детей, и посвятила ему более сорока сонетов. Но после того, как этот молодой итальянец оставил ее дом, она сожгла свои стихи и удалилась в монастырь. Память о них сохранилась лишь в виде легенды в устах современников.

Леа ГОЛЬДБЕРГ

### ЛЮБОВЬ ТЕРЕЗЫ ДИ МОН \*

1.

Болезнь моя проклятая! У света  
Любовью называется она.  
Как я презрением к себе полна!  
О, если бы ты знал, как тяжело это!

Волос моих коснулась седина —  
С годами делаться мудрей должна.  
Но вот мой взгляд остался без ответа, —  
И я унижена, оскрамлена.

Зачем в свой ясный, предосенний день  
Должна страдать я, от любви робея,  
Должна робеть я, горестно любя?

\*Из сборника стихов, подготовленного к печати издательством "Библиотека Алия", Иерусалим.

А ночью, как бы пряча душу в тень,  
Не ведая стыда, тянусь к тебе я  
И лишь тебя зову, хочу тебя!

2.

Я не хочу, я не могу — поверь —  
Чтобы ты снился мне из ночи в ночь.  
Мне думать больше о тебе невмочь  
И трепетать при каждом стуке в дверь.

От взгляда юных девушек, как зверь  
Затравленный, бежала бы я прочь.  
Победный блеск не в силах превозмочь,  
Он как бы говорит мне: "пыл умерь!"

Покой душевный был мне прежде мил.  
Я зрелостью своей не тяготилась,  
И страх меня ночами не томил.

Тогда мне даже и во сне не снилось,  
Что встречи тайно ждать, лишаясь сил,  
Так сладостно, и в этом Божья милость.

3.

Ты лучше бы прогнал меня в пустыню,  
Обрек бы на скитание, как встарь  
Отправил Авраам свою Агарь —  
Покорную наложницу, рабыню.

Счастливее меня любая тварь.  
Пускай бы надо мною ты глумился,  
Мой гордый дух не так бы возмутился.  
Ты был бы для меня и Бог и царь.

Но для тебя я — дама в высшем свете,  
Не дотянуться до моей руки. —  
Здесь каждое движенье на примете.

И я сжимаю втайне кулаки.  
Я в крепости, Тут стены высоки.  
Я страсть мою должна держать в секрете.

4.

Гордыня! Сердце бедное в затворе!  
Должна ли женщина гордиться тем,  
Что красоте не внимлет? Это горе,  
Когда ты слеп, когда ты глух и нем.

Есть дар любви. Дается он не всем.  
Как можно говорить тут о позоре!  
Тот, кто жемчужину отыщет в море,  
Преступник? — В том не соглашусь ни с кем!

И разве грех, что избрала тебя я,  
Твоей пленилась скрытой красотой?  
В себя вобрать сумел ты столько света!

Так драгоценный камень, собирая  
Лучи, нам дарит солнечный настой.  
Мы пьем глазами, в нас душа согрета.

5.

Быть может, ты не так красив, быть может,  
Педанта равнодушный, трезвый взгляд  
Придирчивее бы судил и строже,  
И отыскал бы недостатков ряд.

Того, кто лишь плохое видеть рад,  
Твоя ребячливость к себе не расположит,  
Но для меня ты — недоступный клад.

Сравнила бы тебя с упругою сосной,  
Покрытою предутренней росой. —  
Ласкает ветер голубую хвою, —

Иль с нежной сердцевинкой голубой  
У пламени. Но образ мой любой  
Несовершенен, несравним с тобою.

6.

Любовь меня не сделала слепой.  
Я вижу все отчетливо и ясно.  
Рассудок сердцем управляет властно,  
И дни идут унылой чередой.

Обманчивые грезы, как запой.  
И пробуждение от них ужасно.  
К утру я брошена волною страстной  
На берег безнадежности тупой.

И снова трезвый холодок в крови,  
И мысли, мысли — без конца и края...  
Моя любовь — зерно без прорастания.

Праматерь Ева! Ты лишилась рая,  
Ты променяла пиршество любви  
На сладкий плод горчайшего познания.

Итак, мой друг, сгорают налету  
Мгновения, минуты и часы...  
Проходят дни, и я на их весы  
Кладу бессилие и немоту.

Когда же время подведет черту,  
Лишь лунный цвет, коснувшийся косы,  
Напомнит про погибшую мечту,  
Про всю мою земную суету.

Нет, не хватило духу у меня  
Чтобы в Тивоне солнцу приказать:  
— Замри и время приостанови!

И вот уж ночь идет на смену дня...  
Но светлый час могу я задержать.  
Он мой навеки! Он в моей крови!

8.

За окнами дождя косые струны.  
Огонь в камине разожги, мой друг.  
Жар закурчавится золоторунный,  
И отблески запрыгают вокруг.

На фоне осени твой образ юный  
Свеж по-особенному и упруг.  
Пылает сердце — жертва злой фортуны.  
Холодный ум в объятьях зимних выюг.

Тебя обманываю от души:  
За материнство выдавать должна я  
Свою огнем пылающую страсть.

Но ты будь ясен, этого не зная.  
Здесь, возле тлеющих углей мне разреши  
Часы любви себе на память красть.

9.

Из твоего и моего окна  
Виднеется один и тот же сад.  
Я ко всему, что твой ласкает взгляд  
Душою всю приворожена.

И песня соловьиная слышна  
Одна и та же нам всю ночь подряд.  
Внимая ей, мы дышим как бы в лад,  
И нас роднит взволнованность одна.

А каждым утром старая сосна —  
На ней твой взор росой голубой —  
Меня встречает трепетным приветом.

На все смотрели вместе мы с тобою,  
Но ты понятия не имел об этом.  
Об этом думала лишь я одна.

10.

О, как прекрасен город был в тот день!  
Горами окружен, простерся он.  
Вдруг древности его исчезла тень,  
Он светом глаз твоих был озарен.

А строгий камень башен и колонн  
Твоей улыбкой юной был смягчен.  
А переулки — со ступени на ступень  
Их бег к твоим стопам был устремлен.

Вселенную обняв счастливым взглядом,  
Два дерева — стояли мы здесь рядом,  
Ликуя от корней и до вершины.

Мы очарованно смотрели вдаль —  
Чуть тронутая сединой маслина,  
И пышно расцветающий миндаль.

11.

Внутри меня поет, как в клетке, птица.  
Звук песен слаще аромата роз.  
Но ты не дал моей душе раскрыться,  
И птице вольной стать не довелось.

В сетях ночей, что сотканы из грез,  
Там в раковине тайна шевелится.  
Но между мною и тобой граница.  
Язык мой сковывает твой мороз.

Когда же смерть придет среди моря ночи  
Холодным светом вечного покоя,  
Она глаза мне бережно закроет.

К моей груди, в которой песнь клокочет,  
Приложит ухо. Ей отдам я в руки  
Сокровища моей любви и муки.

12.

Позор! За счастья жалкого крупицу  
Горела я в огне из тысячи костров.  
Останется один лишь пепел слов.  
Останутся лишь буквы на страницах.

Поверят ли, что был прилив суров,  
Когда волна о берег кончит биться?  
О, если бы мне знать, что сохранится  
Хоть бледный след от рухнувших миров!

Жемчужины моей любви жестокой  
Меня переживут. И, может статься,  
Когда-нибудь их кто-нибудь заметит.

Рассмотрит их скучающее око.  
И время будет ими забавляться,  
Как забавляются игрушкой дети.

*Перевела с иврита  
Рахиль БАУМВОЛЬ*



Юрий ИОФЕ

## НА ЗЕМЛЕ

*/Из книг "Итак, итог" и "Вне России"/*

### ПОГОНЯ

То в непроглядных тучах кроясь,  
То в небо вынырнув опять,  
Луна преследовала поезд,  
Не отступая ни на пядь.  
Летел курьерский на Тбилиси,  
С полночным ветром на ножах;  
Но и Луна с усмешкой лисьей  
Не отставала ни на шаг.  
Из налетающего мрака  
Сквозили звезды тут и там.  
Луна, как желтая собака,  
Гналась упорно по пятам.  
И задыхаясь тяжким паром,  
Захлебываясь злой слюной,  
Силач "И. С." старался даром,  
Не в силах справиться с Луной.

## НА ЗЕМЛЕ

Была Луна упряма очень,  
Чего ей надо — невдомек.  
И где-то на исходе ночи  
Курьерский поезд изнемог.  
На станцию, взрывая спячку,  
Влетел, железный и худой.  
И отпоила водокачка  
Его студеную водой.

Луна ушла — и не коснется.  
Кругом Вселенная пуста.  
Да что Луна? Тускла, как Солнце  
Мильеполетия спустя!  
Уже слышны в природе вздохи,  
И просветлел простор страны.  
То Солнце нынешней эпохи  
Вставало с левой стороны.

*Москва, лето 51*

\* \* \*

При свете утренней зари  
Дома казались мертвыми.  
И дворники, как косари,  
Асфальт косили метлами.  
Ногами — шаг, руками — мах,  
Не дворник — заглядение.  
А люди прочие в домах,  
Себя ворочая впотьмах,  
Смотрели сновидения.  
И людям снилась дребедень  
За шторами, под пологом.  
А, между тем, огромный день  
Вставал над сонным городом.  
Покуда цел и невредим  
В своем великолепии.

Но люди выйдут из квартир —  
И станет все нелепее.  
Уж кто-то ухо почесал,  
Уже вставать кому-то.  
И день растащат по часам,  
Рассыпят по минутам.  
И он зачахнет, одинок,  
Заглохнет понемногу.  
И люди скажут, что денек  
Прошел — и слава Богу.

*Москва, лето 51*

#### **ЧЕТВЕРТЫЙ ЧАС УТРА**

Уже темно и гулко в ресторанах..  
Четвертый час утра. Последних пьяных  
Такси растаскивают по домам.  
И поглощает их ночной туман.

И — как объедки ужина с тарелок  
Сметает в кухне дерганый лакей —  
Сметает проституток престарелых  
Милиция с пустынных площадей.

Куда итти? Дорога позабыта.  
Четвертый час утра, и все закрыто.  
Лишь, дождевыми брызгами пыля,  
Промчат авто: к Лубянке от Кремля.

*Москва, 56*

#### **НА ЗЕМЛЕ**

Ибо каждый из нас — и никто и ничей,  
Мы живем безутешными вдовами.  
Белой тишью зимы, черной тушью ночей  
Очарованы и околдованы.

#### **НА ЗЕМЛЕ**

С бытия чешуей осыпается чушь.  
Так вот мы и живем, обреченные:  
В одиночные камеры собственных душ  
Все пожизненно заключенные.

*Москва, 58*

#### **ПОТОМ**

*Георгию Журавлеву*

Мечтают школьники о дальних странах,  
О путешествиях во все края.  
Ну, а потом — тоска в оконных рамах,  
Идиотизм глухого бытия.

Пюют студенты, что, как волны, быстры  
Дни нашей жизни — так налей вина!  
Ну, а потом — отменные службисты,  
Чиновные и чинные сполна.

Мы в молодости поднимаем знамя,  
А к старости отстраиваем дом.  
Но можно жить, когда живешь, не зная  
Того, что совершается потом.

*Москва, 58*

\* \* \*

*Юрию Кривцову*

Давно ли сгинул  
Дилижанс?  
Столетье дыма.  
Рассветный час.  
Пропасть, прочерк  
Прошлых лет.

Окисью ночи  
 Синь рассвет.  
 Мы — иные.  
 Душа — дюраль.  
 Но и ныне  
 Стремимся в даль.  
 Мечем гордо  
 Гарпуны  
 В ломкую, мертвую  
 Плоть Луны.  
 Анализируем —  
 До поры!  
 Анатомируем  
 Антимирь.  
 С телевизоров  
 /Все бы сжечь!/  
 Слизываем  
 Голубую желчь.  
 Синь рассвета.  
 Зари накал.  
 Или это  
 Горит напалм?  
 Сверхбезумие.  
 Архибред.  
 Давно ли умер  
 Архимед?

*Москва, зима 65*

### **ЛУНА НАД АВТОСТРАДОЙ**

Луна над автострадой  
 Висит наискосок.  
 И ветер полосатый  
 Пронзительно жесток.

И наплывают тенью  
 Вплотную с двух боков  
 Деревья-привиденья  
 Из пройденных веков.

А там, в дали покатою,  
 Не прикрывая век,  
 В огня пансионата  
 Дрожит 20-й век.

И буквой иностранной  
 В пучинах тишины  
 Висит над автострадой  
 Дорожный знак Луны.

*Пирогово /Подмосковье/, лето 68*

### **КРУГОМ ФРАНКФУРТ**

Он днями и ночами душными  
 Раскинулся, как павильон.  
 Он высится, оскалась башнями,  
 Как некий новый Вавилон.

Во Франкфурте, в торговом городе,  
 И дым, и гам, и быт, и пот.  
 И годы падают, как желуди,  
 Срываясь в каменный пролет.

Течет в каком-то направлении  
 Коричневато-бурый Майн.  
 И сентябрит в потемках времени.  
 А, может, наступает май.

И что-то было, что-то сбудется,  
 И все смешались языки.  
 Как рыси бегают по улицам  
 Автомобили-рысаки.

А я, чудак, не внемлю транспорту,  
 На транспоранты не смотрю.  
 А я, чужак, брожу по Франкфурту,  
 От пива раздобрев к утру.

*Франкфурт-на-Майне, 8.9.78*

\* \* \*

"Что случилось? Что со мною случилось?"  
 Сергей Есенин

Я сидел в пещере у огня.  
 Шли дожди лиловою лавиной.  
 Странно шелестел вокруг меня,  
 Шевелился мир неуловимый.

Едкий запах женщин и жилья.  
 Душный, тошный, страшный запах жизни.  
 Тени на рассвете бытия.  
 Мысли, водянистые, как слизи.

Помню, мамонтовы черепа  
 Мне набормотали много-много...  
 И тысячелетий череда  
 Начиналась сразу у порога.

Пелена над миром, пелена.  
 Мир в плену, в пеленках, в дебрях детства.  
 Все бы ничего, да вот Луна!  
 Никуда не спрятаться, не деться.

Я сижу у серого окна,  
 В мутный дождик, как дурак, уставясь.  
 Я ведь был Хранителем Огня!  
 Что случилось? Что со мною случилось?

Я пойду отсюда, я пойду.  
 По пивным пойду, по магазинам.  
 И о чем толкует — не пойму! —  
 Женщина, пропахшая бензином?

*Люцерн, 5.9.80*

---

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ АГЕНТСТВО  
 ИНТЕРЕСУЕТСЯ

русскими рукописями на следующие темы:

1. Социально-философская и историческая мысль России.
2. Запад глазами новоприбывших из СССР.
3. Религия. Демократия. Национализм.
4. Споры вокруг развития культуры в СССР.
5. Советские методы исторической и литературной фальсификации.

Писать: John Blake Literary Agency 5040 Brunt.  
 Posttach 1663 West Germany



*Лев ДРУСКИН*

## ТРЕВОЖНАЯ РТУТЬ

\* \* \*

Мне снился отъезд мой — все тот же, точь в точь, —  
 На выдохе чувств, на пределе.  
 И были друзья нам не в силах помочь,  
 И только глядели, глядели...  
 Струилась асфальта тревожная ртуть.  
 Последние стропы рубили.  
 Я даже губами не мог шевельнуть  
 И понял: убили... убили...  
 О Боже, судьбу мою уговори!  
 О сжался хоть раз надо мною!  
 И если ты можешь, плечом подопри  
 Тяжелое небо земное.

## ПИСЬМО В ЛЕНИНГРАД

Как на деревню дедушке пишу,  
 Всем поименно шлю свои приветы,  
 Как будто каждым именем дышу —  
 Перебираю милые приметы.  
 В окне чужая, пестрая страна.  
 Я далеко. Я не вернусь обратно.  
 Шуршит перо... Мне попросту приятно  
 Твердить сквозь слезы ваши имена.

\* \* \*

Скажи, чего ты хочешь?  
 Уже сошли с ума  
 Рассолом белой ночи  
 Омытые дома.  
 И этой ночью белой  
 Я шел по мостовой,  
 Прищелкивая пальцами,  
 Качая головой.

Была в Неве сегодня  
 Соленая вода.  
 За мной плелись неслышно  
 И горе, и беда,  
 Они мелькали в окнах,  
 И слезы всех времен  
 Ко мне из подворотен  
 Текли со всех сторон.

Уже был рядом где-то  
 Мой главный перевал,  
 А я не знал про это —  
 Я шел и напевал.  
 А я не знал про это,  
 И шел по мостовой,

Прищелкивая пальцами,  
Качая головой.

\* \* \*

Выступают сверчки —  
С них сбивают очки,  
Им ломают пюпитры и скрипки,  
Но они поправляют свои пиджачки  
И опять надевают улыбки.  
И торопятся к нотам, и в ритме живут,  
И глядят увлеченно и добро...  
И тогда их калечат, увечат и рвут,  
И пинают и в спину, и в ребра.  
Но они поднимаются, эти сверчки,  
И опять поправляют свои пиджачки,  
Чтоб им было ни густо, ни пусто...

.....  
И да здравствует наше Искусство!

\* \* \*

Отчего я так дивно устроен,  
Что и зла и добра удостоен,  
Что велик бесконечно и мал?  
Кто меня так искусно придумал —  
Подержал и с руки своей сдунул,  
А потом наступил и сломал?

Но бежит животворный источник  
И срастается мой позвоночник, —  
И хоть был я полжизни во мгле,  
И хоть мне еще трудно на свете,  
Мне завидуют море и ветер,  
И скала, и сосна на скале.

\* \* \*

А соседи говорят:  
"Ваши спички не горят,  
Ваша лампочка потухла,  
Ваша курица протухла,  
Ваша верная жена  
Абсолютно не верна."  
Я соседям отвечаю:  
"Мол, не лучше ль выпить чаю?  
Я, мол, старый их сосед,  
У меня претензий нет, —  
Только детям их поганым  
Стыдно шарить по карманам".  
А за окнами Нева,  
На Неву летит листва.  
Осень, шпиль, решетка сада...  
И не ты ль, моя отрада,  
Золотую эту грусть  
С детства знаешь наизусть?



ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ  
ПОЛИТИКА

Дора ШТУРМАН

## ПРАВДА И ЛОЖЬ

### 1. "КОГДА Я ВЫРАСТУ..."

Один мой не очень юный друг, мечтая о времени, когда перед ним откроются жизненно необходимые ему возможности, по сей день говорит с горьковатым юмором: "Когда я вырасту..."

Мне же при воспоминании своем и своих друзей о нашем доэмигрантском отношении к печатному /и тем более — к свободному/ Слову, хочется написать: "Когда мы были маленькими..."

Ибо мы действительно были очень наивными, пока не столкнулись с беспомощностью раскрепощенного Слова.

Люди с кляпом во рту думают лишь о том, чтобы выплюнуть кляп. Когда во рту кляп, кажется, что достаточно произнести свои мысли вслух — и мир замрет, потрясенный их правдой. Но вот выплюнут кляп, и покончено с нервной лихорадкой из-за нескольких рукописей, пущенных в подземные ручейки Самиздата.

Когда мы были маленькими, мы думали, что правдивые книги способны поставить мир с головы на ноги. Но и правдивейшие из книг не ставят человечество с головы на ноги потому, что у людей нет Единого Мирового Уха, которое вливало бы все к нему обращенное. Люди разделены. Каждый из нас обладает отдельным слухом. А тем, кто пишет самые лучшие книги, мешает увидеть свою беспомощность утешительная иллюзия единого мирового слуха. Чувствуя за весь мир, говоря для всего мира, честная мысль /дадим ей условное имя Правда/ ограничивается самовыражением и надеждой, что мировой слух ее уловит, что мировой разум ее поймет, что мировая душа на нее отзовется.

Но жизнь устроена так, что никто не может ничего услышать и понять за другого. Один может говорить за всех или для всех, но услышать, понять, впитать услышанное может только каждый сам за себя.

В отличие от простодушной Правды корыстная Ложь никогда не забывает об отсутствии благодарно настроенного Мирового Уха. Ложь всегда озабочена технологией, техникой и ресурсами для своего внедрения в ряд конкретных сознаний и душ. Она не полагается на случайных слушателей с их пассивностью и ленью мысли. Она вползает в мозг получателя, вьет в нем гнездо, осваивает и перестраивает его нужным ей образом.

В XX веке Ложь, управляющая поведением миллиардов людей, обрела планетарные масштабы и вооружилась всемогущей технологией, техникой и ресурсами своего внедрения в управляемое сознание.

Правда же осталась такой, как была: полагающей, что каждый волен услышать ее и за ней последовать. "Когда я вырасту, — говорит Правда, — я изыщу — с миру по нитке — большие деньжища, соберу правдоискателей и открывателей и научусь находить дорогу ко всем, кого я хочу приобщить к себе".

Но Правда может и не вырасти: не все дети становятся взрослыми, некоторые до этого не доживают.

Не заботясь всерьез об адресате, беспечная Правда не заботится и о том, в каком языковом и понятийном оформле-

нии адресат способен ее воспринять. Между тем учителя и ученые, пишущие о науке для широкого круга читателей-неспециалистов, знают: нет мысли настолько сложной, чтобы ее нельзя было изложить доступно. И еще: ни одна самая верная мысль не становится личным достоянием слушателя, читателя, зрителя, если ее освоение не затрагивает их чувств. Чувство же затрагивается лишь тогда, когда мысль говорящего пересекается с личным опытом и личными интересами слушателя.

## 2. ОДНОСТОРОННЯЯ БИТВА

Незадолго до смерти Владимир Высоцкий спел горькую песню о Правде и Лжи, где в качестве вывода прозвучал трагический предрассудок: "Чистая Правда когда-нибудь восторжествует, Если проделает то же, что явная Ложь".

Кому охота пачкать себя тем, чем не брезгует только грязная Ложь?

В действительности же, то, что должна совершить Правда во спасение человечества от тенет Лжи, противоположно по смыслу и этике тому, что делает Ложь. Ложь пропагандирует Ложь, а правда может пропагандировать Правду, при этом проверенную на опыте. Не изменяя этому своему преимуществу, Правда никогда на одну доску с Ложью не станет.

Правда согласуется с экспериментами и может выдержать фундаментальную проверку и критику. В той области, о которой мы говорим, она не берет на себя обязательств, противоречащих законам Природы /в том числе — человеческой природы/. Она не обещает ни гармонического, ни всемогущего, ни идеального-справедливого общества. Она отстаивает возможность нормального существования — возможность удовлетворительной амортизации социальных эксцессов и кризисов, возможность улучшения человеческой жизни, возможность такой борьбы человека за свои интересы, которая не грозила бы гибелью ни другим людям, ни ему самому

Ложь может завоевать мир, но не осчастливить. Завоевав мир, она убьет его.

Мимоходом замечу, что Ложь не бывает "явной": у явной Лжи слишком короткие ноги для того, чтобы она могла выполнить свои задачи. Сделать правдоподобную Ложь явной — для тех, кому адресована Ложь, — в этом и состоит задача поборников Правды. Разоблаченная Ложь — это уже не Ложь, а сорванное с нее тряпье и Правда о Лжи. Сказано ведь в той же песне Высоцкого: "Чистая Ложь — это чистая Правда, ребята, если, конечно, и ту и другую раздеть..."

У Правды есть множество доводов против Лжи, но Правда упрямо не хочет или не имеет возможности "работать на публику", хотя, обретя необходимую технологию и ресурсы, могла бы овладеть аудиторией Лжи, не изменяя при этом себе самой. Материала для этого вполне достаточно.

Над доской сидят два партнера. Первый играет в шашки, а второй — в поддавки. Надо ли первому быть гениальным шашкистом, чтобы выиграть партию? Ведь второй до конца так и будет считать, что это он выигрывает! Пока судья не объявит, во что играли. Достаточно было бы второму вовремя понять, какая идет игра, чтобы возросли его шансы на выигрыш. Но он не хочет или не может заставить себя отказаться от необременительной игры в поддавки. В этом, а не в беспроигрышности приемов того, который играет в шашки, заключена основная из грозящих миру опасностей. Играющий в поддавки может опомниться слишком поздно для выигрыша /и даже для ничьей, впрочем, здесь ничья — это всего лишь приостановка игры/.

Для доказательства того, что один из партнеров играет в шашки, а другой — в поддавки, достаточно привести один пример.

Как известно, нет ни одной школы в коммунистическом мире, где не читалось бы партийное агрессивное-фальсификаторское "обществоведение". Одновременно в свободном мире нет школ, где читалось бы целенаправленное /как говорил один из персонажей незабвенного Евгения

Шварца, "я не боюсь этого слова"/ доступное и научно честное обществоведение, знакомящее подростков с работой и выводами мировой мысли, защищающей демократию от социализма-коммунизма. Напротив: в стенах учебных заведений Запада, как правило, запрещена партийная политическая пропаганда и агитация. Вместе с тем коммунистические, прокоммунистические, террористические и т. п. тенденции легко и безнаказанно вторгаются в школы и вузы под традиционной для них неполитической маской защиты человеколюбия, равенства и справедливости.

Самое страшное, что Правда /Правота/ старается выполнить соглашение о недопущении в школы и вузы всего того, что может рассматриваться как политизация воспитания, а Ложь использует это соглашение, как всегда и везде, в своих интересах, заполняя оставленный Правдой мировоззренческий вакуум.

Вопрос о воспитании из школьников и студентов демократов, способных к самозащите, очень тонок. Но может быть, он утратит свою чрезмерную утонченность, если мы вспомним еще одно обстоятельство: свободу коммунистической и любой другой экстремистской пропаганды в демократическом мире и абсолютную невозможность пропаганды демократии в мире коммунистическом. Это ли не игра в поддавки /разумеется, со стороны демократии/?

Еще в комнатных дискуссиях в СССР мне приходилось, как и сегодня, выслушивать возражения: на плюралистическом Западе нет единого миропонимания, такое существует только в тоталитарном обществе, да и то — лишь в официальной плоскости.

Полагаю, что это не так. Даже в столь узком олигархическом образовании, каковым является нынешнее высшее руководство СССР, угадывается некоторый разброс мнений. Но кривая их распределения обеспечивает партократии необходимое единство действий. В условиях демократии /с ее легализованным разнообразием конкурирующих воззрений/ кривые распределения разных взглядов накладываются одна на другую, образуя массивные, плотные зоны, обла-

дающие стратегическим весом, и рассеянную периферию, на общую ситуацию влияющую пренебрежимо мало.

Управляющая Ложь партократии построена так, что овладевает именно этими массивными зонами, блистательно эксплуатируя их органические комплексы и предрассудки. Так, губительным для демократии может оказаться усиленно эксплуатируемый управляющей Ложью комплекс колониальной и социальной вины, владеющий эмансипированным сознанием Запада уже второе столетие. Этот комплекс не нов: русская дворянская интеллигенция испытывала его по отношению к своим крестьянам, российская дооктябрьская интеллигенция — по отношению ко всем тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, а не легким умственным.

Эти комплексы исторически объяснимы и благородны. Но беда в том, что ни колониальные народы, ни люди физического труда не выигрывают от передачи их судеб в руки прожектеров и экстремистов, никакими комплексами виновности не страдающих. Не выигрывают даже в тех случаях, когда их судьбами начинают бесцеремонно распоряжаться братья по расе или недавние собратья по классу.

Я не буду углубляться в этот специальный вопрос, ибо касаюсь его лишь ради упоминания о дополнительном козыре Лжи в странах, куда партократия целенаправленно пробивается. Ложь использует комплексы виновности западной демократии весьма эффективно, ставя на них серьезные ставки и, как правило, не проигрывая.

Западная свобода, естественно, обеспечивает приоритет индивидуализма над милитарностью, лежащей в основе партократических обществ. Но свободный мир существует в структурно-информационной связи с миром тоталитарным. Поэтому самоубийственным было бы для обеих сторон — не учитывать свойств противника. Партократия изучает и эксплуатирует свойства и убеждения демократии. Демократия от изучения свойств партократии отмахивается, оберегая иллюзию своей безопасности и прочности. Граждане демократических стран продолжают лелеять свой индиви-

дуализм, часы которого сочтены, если индивидуалисты не объединятся для самозащиты.

Но не желающий слышать не слышит предостерегающих голосов.

### 3. ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Поистине, если бы Правда проснулась и обрела своих теллеров и своих ротшильдов, она могла бы заняться лишь отысканием, компановкой и технологией доведения до адресата давным давно опубликованных и прочно забытых свидетельств и доводов против партократической Лжи.

Обращусь к одной затерявшейся в журнальных дебрях истории, с которой мне довелось недавно столкнуться. Разыскивая воспоминания современников о Н. И. Бухарине, я перелистывала журнал "Социалистический вестник" начала 1960-х годов. В сборнике № 1 /апрель 1964 г./ мне встретился рассказ некоего "товарища Томаса" "На заре Коминтерна" с предисловием и примечаниями Б. Николаевского. "Товарищ Томас", настоящего имени которого Б. Николаевский так и не называет /или не знает/, был первым официальным представителем Коминтерна в Западной Европе, представителем ЦК РКП/б/ при компартии Германии и центральной в Европе фигурой по распределению ценностей и денег, с помощью которых РКП/б/ подчиняла себе европейские компартии /и разлагала партии социалистические/.

В официальных изданиях истории Коминтерна имя ленинской "темной лошадки" "товарища Томаса" не упоминается. Б. Николаевский /социал-демократ меньшевик/ встречался с ним в 1935 году в Праге, где находился подпольный коминтерновский центр. "Товарищ Томас" просил Б. Николаевского спасти архив Коминтерна с письмами Ленина, Троцкого, Зиновьева, Бухарина, Радека, оставленный им в Берлине у надежных людей, но оказавшийся по ряду причин под угрозой. Функционер Коминтерна готов был подарить этот архив немецкой социал-демократии, но спасти бумаги не удалось. Уцелела, по словам Б. Николаевского, "не самая ценная

часть" его; она в США. Сам "товарищ Томас" благополучно скончался в США в начале 1950-х годов, избежав участи многих своих коллег по Коминтерну, погибших в застенках сталинщины. Историю Коминтерна, которую "товарищ Томас" мечтал написать /без всяких скидок и умолчаний, существенно откорректировав свои взгляды/, он так, к сожалению, и не написал.

"Товарищ Томас" был снаряжен из Москвы в Европу с бесчисленными бриллиантами и иными драгоценностями в голодном 1918 году по прямому указанию Ленина. Ленинский эмиссар рассказывает:

"Ильич загорелся старой идеей: надо ломать социалистические партии, которые, по его словам, все прогнили и куплены..." С этой целью — с целью разложения социалистических партий Запада и заполнения места, которое образуется после их крушения, — и создается Лениным Коминтерн. О Коминтерне написано много. Данные о нем могут меняться лишь количественно, но не качественно. Однако сегодня во всем западном мире отлично работает та же технология, которая создала Коминтерн. И работает так, словно о Коминтерне ничего никому на Западе неизвестно. Изменился только масштаб игры: ставки стали куда крупнее. Речь идет уже не о создании "партий государственной измены"\* за пределами СССР. Речь идет об уничтожении готовности целых народов к своей самозащите, об их политическом разложении. Как получилось, что располагая такими свидетельствами, как свидетельства "товарища Томаса" и многих других, свободный мир не ополчился и не ополчается против надвигающегося на него мрака? Что следует делать для того, чтобы произнесенное оказалось — прочитанным, прочитанное — руководством к действию? Не это ли центральная проблема века?

"Социалистический вестник" есть в каждой солидной западной библиотеке. В сборниках №№ 1 и 2 за 1965 год

---

\*См. стенограммы X и XI съездов РКП/б/.

рассказано, как подготавливался первый конгресс Коминтерна. Созвали всех, кого удалось созвать. Обхаживали индивидуально каждого делегата от коммунистов и левых социалистов Европы. Действовали с помощью женщин. Подготавливали подставные фигуры, имеющие самое отдаленное отношение к революционной работе и рабочему движению. Специально искали людей с несамостоятельными характерами\*. Подбирали исполнителей без собственного мнения, зато с авантюристической жилкой. Роза Люксембург, по словам "товарища Томаса", не доверяла Ленину, боялась, что западноевропейские коммунисты попадут в плен Москвы, "Спартак" был против создания нового Интернационала. Но Ленин обошел их всех, играя, по своему обыкновению, без соблюдения каких бы то ни было ограничительных правил. Его испугал, было, слух о возможном приезде на учредительный конгресс нового интернационала Карла Каутского, и он начал бешено торопиться с брошюрой "Октябрьская революция и ренегат Каутский" с ее параллельным переводом на немецкий язык, — сунуть Каутскому на границе, чтобы прочитал, обиделся и уехал. Брошюрка-то, действительно, грубая и оскорбительная, хотя серьезной критики и не выдерживает. Но все-таки сняли для Каутского квартиру, достали "кур и мешок риса" /"тов. Томас"/ — и зря: не приехал.

Доклад о белом и красном терроре сделал Чичерин. Обсуждения не было. "Манифест" написал Троцкий — набело, по-немецки, приняли без обсуждения. Инспирировали несколько выкриков о создании Коминтерна.

Так положили начало организации, через которую потекли на Запад в распоряжение самых разрушительных сил деньги и заструилась Ложь, управляющая поведением сначала десятков, потом — сотен, сегодня — миллионов и миллионов людей. Нежно оплакиваемый нынешними западными социали-

---

\* Тактика Ленина при формировании дореволюционных российских ЦК РСДРП.

стами Бухарин состоял в первом же бюро Коминтерна, все знал, везде присутствовал, входил во все ленинские провокации и комбинации. "Товарищ Томас" рассказывает, как отвели исполкому Коминтерна дом Мирбаха, как первые коминтерновцы не могли придумать, чем им заняться.

Начали выпускать журнал "Коммунистический интернационал". Теперь, в 1935 году, "тов. Томасу" "стыдно за оптимизм журнала". Зиновьев предсказывал: через год мировой революции еще не будет, "разве что в Америке и экзотических странах". "Товарищ Томас" возражал: будет вот-вот — в Германии. Делегаты разъехались — как в воду канули. Статьи поступали плохо. Ленин посылает "товарища Томаса" в Германию: "Возьмите как можно больше денег, присылайте отчеты, если можно, газету — а вообще, делайте, что покажет обстановка, только делайте!"... "Ганецкий в это время заведовал партийной кассой, не официальной, которой распоряжался ЦК партии, и не правительственной..., а секретной партийной кассой, которая была в личном распоряжении Ленина и которой он распоряжался единолично, по своему усмотрению, ни перед кем не отчитываясь. Ганецкий был человеком, которому Ленин передоверил технику хранения этой кассы..."

..."Товарищ Томас" получил "миллион рублей в валюте немецкой и шведской". В следующем кадре этого детектива мы видим его в колоссальной сокровищнице, в подвале московского Дома судебных установлений. "Товарищ Томас" рассказывает далее Б. Николаевскому: "Все эти драгоценности, отобранные ЧК у частных лиц, — по указанию Ленина, Дзержинский сдал их сюда на секретные нужды партии..." Так ручейком, потекшим в саквояжи "товарища Томаса", начиналась та Ниагара подкупов, провокаций, террора и лжи, которая сегодня грозит затопить последние острова свободы. "Товарищ Томас вспоминает: "...наложил полный чемодан камнями, золота не брал — громоздко..., и я продавал их потом в течение ряда лет". Никакой расписки за ценности не взяли, только за деньги. Видно грабили и ссыпали в сокровищницу без счета. Есть глухие слухи, что

Дзержинский не хотел отдавать "фонды ЧК" в распоряжение других инстанций. Но опять же — не с Лениным было ему тягаться.

"Для сношений с Москвой я завел даже два аэроплана, — вспоминает "товарищ Томас".— Подкупленные полиции западных стран пачками штемпелевали коминтерновцам фальшивые паспорта..."

Следующий кадр коминтерновского детектива — повествование "товарища Томаса" о том, как Ленин привлекал и привлек в Коминтерн /сорвалось впоследствии по причинам от него не зависящим/ одного из бывших министров последнего турецкого султана, Энвер-пашу, больше кого-либо другого ответственного за истребление почти всего армянского населения Турции. В 1920 году Энвер-паша прибыл в Москву и предложил Ленину направить национализм мусульман Средней Азии против Англии. Ленин в с е об Энвер-паше знал, но план принял, и тот должен был выступить в начале сентября 1920 года в Баку на "Съезде народов Востока". Выступление не состоялось, так как за кулисами съезда возник армяно-турецкий конфликт, и Энвер-пашу чуть не убили. Но он выступил на специальном митинге "трудящихся мусульман" в бакинском театре под лозунгом "Смерть империализму". Потом он уехал в еще независимую Бухару. Но Бухара вовлекла его в "священную войну" против большевиков, в которой он и был убит. \*

Практика привлечения к своей зарубежной деятельности международных авантюристов самого грязного пошиба остается характерной для Кремля по сей день. И по сей день она работает безотказно.

За годы, истекшие после смерти Ленина, Кремль был пойман с поличным на операциях подобного рода неоднократно, но у свободного мира отсутствуют органы целенаправленной контрпропаганды, которые могли бы выставить

---

\*См. книгу Г. Агабекова "ГПУ" — "Записки чекиста". Берлин, 1930, стр. 40-47.

на всеобщее обозрение поднаготную современных националистических, "революционных", "антивоенных", террористических, псевдоэкологических /против ядерной энергетики под лозунгом защиты окружающей среды/ и других движений, инспирируемых и дирижируемых Кремлем. Здесь, как и во всем: одна сторона использует любые приемы, рядясь при этом в тогу добродетели и очерняя бесцеремоннейшим образом объекты своего нападения; другая не защищается даже словом, не замечая, что в ее собственном стане словно бы подменяется лицо за лицом, группа за группой, становясь волонтерами и диверсантами нападающей стороны. Атакуемый стан покоряется завоевателем изнутри, без объявления военных действий.

Стратегия щедрого подкупа и заполнения всех духовных пустот характерна для управляющей Лжи в тех зонах мира, которые еще только подлежат завоеванию, но не завоеваны. В покоренных районах подкуп сменяется принуждением, а управляющая Ложь просто монополизирует все средства массовой информации, не допуская в обращение никаких других моделей реальности. Мнение, что избыточность и однообразие управляющей Лжи сводят на нет ее воздействие на адресатов, ошибочно. Слыша непрерывно одно и то же, и только одно и то же, сознание привыкает к этой духовной пище и начинает усваивать ее автоматически /"Клевещите, клеvещите — что-нибудь да останется"/. Тем более, что других источников информации в покоренных районах мира практически нет. Только сама жизнь поставляет впечатления, противоречащие официальной Лжи. Но неумолчная, бессонная пропаганда непрерывно вводит в сознание своих адресатов свою и только свою трактовку этих впечатлений, свои, и только свои, критерии добра и зла, смысла и целесообразности.

Окончание рассказа Б. Николаевского помещено в "Социалистическом вестнике" № 2 /октябрь 1965 г./ Для доставки европейских делегатов на второй конгресс Коминтерна "товарищ Томас" нанимает целый пароход. По его словам, П. Леви и Роза Люксембург были очень против засилья Москвы в европейских компартиях, против ленинской мании



"расколов" /Ленин селекционировал большевиков в среде европейских социалистов — как же тут без расколов?/, защищали отброшенных Лениным от Коминтерна умеренных коммунистов и социал-демократов. "Товарищ Томас" делает личный доклад Ленину, затем беседует с Троцким. Троцкий задает, в основном, литературные вопросы: что издают, что вышло нового? Ленин занят иным: его интересуют политические новости, разведывательная деятельность членов Коминтерна и организационные проблемы. Он советует "товарищу Томасу" купить дом и стать зажиточным домовладельцем в Германии, жить широко, приобретать знакомства и связи в разных слоях общества.

Карл Радек\* показал Павлу Леви доносы "тов. Томаса" на руководящих деятелей немецкой компартии, в том числе и на Леви. "Тов. Томас" недоумевает: зачем? И успокаивается на мысли, что "озорной" Радек "любил сталкивать людей лбами". Радек и на процессах 1936-38 гг. будет "сталкивать людей лбами", за что и получит не пулю в затылок, а десять лет заключения, в котором и сгинет.

И все-таки "товарищ Томас" не может понять побуждений человека, который явно ему протезировал: "Радек не мог не понимать, что Леви не станет мои отзывы\*\* держать в секрете от немецкого ЦК, который я называл в лучшем случае собранием провинциальных учителей и секретарей.\*\*\*

Куда же тогда немецкий ЦК годился? "Малому бюро" Коминтерна, то есть Ленину, нужны были не респектабельные чиновники провинциального склада, а штурмовики и авантюристы, готовые при первом же подходящем случае

---

\*О нем "тов. Томас" говорит с явной симпатией: разочаровавшись ко времени разговора с Б. Николаевским в большевизме, он и должен был симпатизировать двоедушному Радеку, который всегда относился с циничной иронией к тому, чему сам служил.

\*\*В высоком большевистском кругу доносы принято было именовать отзывами.

\*\*\*Б. Николаевский полагает, что позднее "тов. Томас" участвовал в устранении П. Леви.

повторить октябрьскую эскападу — под ленинским же командованием.

Доносы "товарища Томаса" вызвали возмущение всей КПГ. ЦК КПГ обвинил "тов. Томаса" в чекистских методах партийной работы, а "тов. Томас" и в 1935 году обвиняет П. Леви в "тенденциозном" подборе цитат из его "отчетов". Ответ "Малого бюро" Коминтерна "немецким товарищам" гласил: "Товарищ Томас" сидит на всех заседаниях ЦК КПГ не как его член, а как представитель Москвы, и будет сидеть и писать, что хочет, пока Москва его не отзовет". Проглотили. Радек изворачивался, писал письмо Кларе Цеткин в защиту "товарища Томаса". Она заступилась, хотя и дружила с П. Леви.

"Москва оказывала огромную материальную помощь национальным компартиям и условием этой помощи ставила право контроля за их деятельностью", — сообщает впоследствии "товарищ Томас".

Все немцы были против "тов. Томаса", но русский ЦК /по словам Г. Зиновьева, в то время одного из высших руководителей Коминтерна/ был весь за него. Это и перевесило.

Г. Померанц в своей недавней статье "Сон о справедливом возмездии" несколько раз говорит об исходном прекраснодушии зачинателей коммунистического интернационала, о благих побуждениях, двигавших ими. Но фокус, выкинутый историей, состоит в том, что, согласно множеству опубликованных материалов, не было в природе и в самом начале прекраснодушно-идеалистического Третьего интернационала, а была диверсионно-пропагандистская организация международного назначения, созданная Кремлем, Кремлем инспирируемая, управляемая и снабжаемая — как сегодня снабжаются из Москвы оружием и деньгами такие же международные политические инструменты Кремля.

Ленин изначально селекционировал для Коминтерна "сердца полезные, как замки железные, несложные, удобные, все

---

\* "Синтаксис" №6, 1980.

исполнять способные"\*). Точно так же селекционировались и советские высшие руководящие кадры.

Г. Померанцем владеет по сей день пионерско-комсомольская версия Коминтерна. Между тем, эта ленинская международная мафия была с самых истоков страшной. Именно на ее конгрессах, стенограммы которых давно и достаточно полно опубликованы, Ленин со всей откровенностью высказал мысль о том, что Восток коммунизируется раньше Запада и "похоронит Запад в яме, которую тот сам для себя выроет". Перед коминтерновцами и поставлена была задача — по мере сил рыть яму Западу и уговаривать Запад рыть себе эту яму самостоятельно, что тот и делает...

Но вернемся к беседе социалиста Б. Николаевского с коминтерновцем "товарищем Томасом": "...все настояния немцев были отклонены и... мои полномочия фактически расширены... мое поведение полностью одобрено..." Для успокоения ЦК КПГ им разрешили /именно разрешили, так "тов. Томас" и выражается/ писать и собственные, "самостоятельные" отчеты в Москву об их деятельности. Если и это можно было проглотить, не разорвав отношений, то каков был уровень человеческого достоинства вождей КПГ и на каком прочном крючке они были у Ленина? На этот вопрос отвечает их старший надзиратель от Коминтерна "товарищ Томас": "ЦК немцев по существу бунтовать не мог: материально он целиком зависел от Москвы. Дело было именно в этой зависимости".

Попутно отмечу разницу между этой зависимостью и нынешней зависимостью СССР от помощи Запада. В первом случае игра идет на усиление дающего, во втором — на усиление берущего. В первом зависимость абсолютная, во втором — частичная и избирательная: в нужных берущему размерах и направлении. Кроме того /и это главное/, Запад за свою помощь не требует от СССР изменения его социального строя, а Кремль требует от своих западных подопечных работы на изменение социального строя Запада.

---

\*С. Кирсанов, "Семь дней недели".

"Товарищ Томас" рассказывает еще и о том, как после II конгресса Коминтерна был создан секретный фонд Коминтерна первоначальным объемом 50 млн. немецких золотых марок. Так возвращались в Европу для разрушительных против нее же действий средства, подаренные Германией большевикам.

Секретным фондом Коминтерна распоряжались: в СССР — Ленин, Зиновьев, Троцкий, за границей — в качестве их доверенного лица — "товарищ Томас". Каждая компартия представляла фонду смету своих расходов. Больше всего получала от Ленина денег немецкая компартия — до семи млн. золотых марок в год. Значительную часть выдавали литературой, напечатанной в России, в Гамбурге или в Вене. Компартии протестовали: им не нравилась эта литература, но, как указывает "тов. Томас", "сила была не у них".

Если демократическая западная печать в те времена, как и сейчас, не занималась целенаправленным разоблачением коммунистических происков, то нацистская печать освещала их достаточно широко. Организованный коммунистами Германии "Ротфронт" /"Красный фронт" — антинацистский союз с разного рода попутчиками/ получил в устах "коричневых убийц" обоснованное прозвище "Ротморг" — "красное убийство". Экономические неудачи Веймарской республики и широкое целенаправленное разоблачение деятельности коммунистов в СССР и за его пределами в огромной мере обеспечили победу национал-социалистам на демократических выборах в начале 1930-х годов.

Непонятно, что именно оттолкнуло "товарища Томаса" от его патронов. Но интересует и Б. Николаевского, и нас не столько психология одного из множества рубашовых\*, сколько его одиозные свидетельства.

"Товарищ Томас" сообщает и о том, как Ленин негласно инспирировал восстание в Венгрии под руководством Бела Куна. И добавляет: "Мне было ясно, что он идет на большую авантюру. Пахло прямо провокацией".

---

\*А. Кестлер, "Слепящая тьма" /"Мрак в полдень"/

Итак, Ленин провоцирует Бела Куна на почти заведомо неудачное восстание? Бессмыслица? Не совсем. Мы вернемся к этому несколько ниже.

Против этого восстания были многие коммунистические деятели и в Москве, и в Европе. По словам "товарища Томаса", "Бела Кун, поддержанный Лениным, отвечал очень резко: "У вас сердце в штанах... Вы не по-большевистски оцениваете ситуацию". Он понимает лучше. Рабочие готовы к восстанию. Вожди мешают".

"Товарищ Томас" рассказывает далее: "Кун начал работать "на русский лад", "по старым рецептам", обрабатывая отдельных членов ЦК".

Интересно следующее: "Рабочие готовы к восстанию. Вожди мешают", — это не слова Бела Куна. Он всего-навсего перефразирует Маркса в подаче Ленина. В 1918 году Ленин, пересказывая Маркса, писал, что даже неудачное восстание лучше мирного прозябания, ибо подъемом, переживаемым революционными рабочими, компенсируется и окупается "гибель какого угодно числа вождей"\* . Что же касается "русской" манеры "обрабатывать отдельных членов ЦК", то это ленинская манера: в примечании к III изданию Сочинений Ленина неоднократно упоминается об этой его манере. Встречаются упоминания о ней и в стенограммах съездов РКП/б/. В "Государстве и революции", цитируя Маркса, Ленин произносит пламенный панегирик оздоровляющей и закаляющей роли революционного насилия как такового, независимо от проигрыша или выигрыша его носителей. Упор на не слишком большую ценность "какого угодно числа вождей" /что такое "вожди" при Вожде?/ — отголосок ленинского раздражения против не всегда с ним согласной элиты партии, немало доставившей ему хлопот в канун октябрьского переворота, когда буквально никто, кроме Ленина, действовать решительно не хотел.

"Товарищ Томас", по его словам, утверждал, что в Германии нет никаких предпосылок для восстания. "Москва отмал-

В. И. Ленин, "Государство и революция".

чивалась. Удастся восстание — хорошо. Нет — отрекутся".

После провала восстания в Венгрии "Бела Кун улетел в Москву. Там было много шума. Кун имел свидание с Лениным... Ленин рвал и метал. У Куна был сердечный припадок: после свидания с Лениным упал на улице. На руках притащили домой — слег. Москва начала расчеты. Всех причастных вызвали в Москву. Был приказ: брошюру о "наступлении"\* уничтожить" и т. д. Но больное сердце подвело Бела Куна: не убило его и позволило ему получить свои девять грамм свинца в 1938 году.

В том же сборнике "Социалистический вестник" № 2 за 1965 год помещены "Страницы истории" Анжелики Балабановой. Б. Николаевский отправил ей и Б. Суварину свою рукопись /рассказ о беседах с "товарищем Томасом"/ — для оценки ее достоверности и для выдвижения встречных версий. Оба высказались за публикацию, но указали на ряд мелких неточностей. Частные замечания Б. Суварина Б. Николаевский поместил в примечаниях. Они свидетельствуют более всего о близости Б. Суварина к событиям и людям, связь с которыми не украшает, а устрашает. Не потому ли Б. Суварин по сей день старается, в чем возможно, обелить память Ленина?

Вряд ли стоило бы заниматься замечаниями и дополнениями А. Балабановой, если бы не два-три их пункта.

А. Балабанова уверяет, что лишь в 1915 году выяснилось, что большевики хотели расколоть социалистическое движение всех стран.

Что же тогда делал Ленин с 1902 года в России, если не пытался его расколоть\*\*\*? В России это ему удалось, естественно, раньше, чем в Европе. В мировых масштабах — значительно позже. Но, не перенося ленинское "грехопадение" с 1902-го на 1915-й год, как оправдать свое сотрудничество

\* Речь идет о брошюре Б. Куна и др. "Теория наступления", Москва, конец 1918 года.

\*\* Раскол этот был даже отражен в наименованиях созданной Лениным коммунистической партии - РСДРП/б/ — РКП/б/ — ВКП/б/ вплоть до 1952 года, когда она стала называться КПСС.

с раскольником и диверсантом в мировом социалистическом движении?

Интересно и следующее свидетельство А. Балабановой: "Будучи высланной в ноябре 1918 года из Швейцарии при весьма драматических обстоятельствах, надолго лишивших меня возможности вернуться в Западную Европу, я немало удивилась, когда, поселившись в Москве, я вместо работы, которой добивалась, получила "постановление" от ЦК отправиться в санаторий"\*.

А. Балабанова не поехала в санаторий ни после первого, ни после второго специального постановления ЦК по этому поводу. Отправка в санаторий неугодного ему функционера — один из любимых видов ленинской партийной опалы.

Опубликовано несколько записок Ленина, в которых он после конфликтов с ним или с другим руководящим работником предписывает отправить лицо, вызвавшее его недовольство, "в санаторий" или "на лечение" — причем отправить "немедленно", "срочно", "категорически" и т. п. Это касалось то Красина, то Чичерина, то Ларина; о том же рассказывает и А. Балабанова. ЦК распоряжается жизнью и здоровьем, трудом и отдыхом коммунистов.

На что же мог жаловаться разболевшийся Ленин, получив от своего ЦК в 1922 году в надзиратели за его здоровьем Сталина?

В 1919 году А. Балабановой предлагают должность наркома иностранных дел на Украине, чтобы удалить ее из Москвы перед первым конгрессом Коминтерна. Но по ее решительному настоянию она допускается на конгресс. Она отмечает численный перевес российских цекистов, узнает Эберлайна — делегата от германских "спартаковцев". Остальные — назначены ЦК РКП/б/ из военнопленных и эмигрантов, давно не связанных с движением у них на родине.

"И тут по инициативе Зиновьева, при ближайшем участии Бухарина и, конечно, не без согласия Ленина и Троцкого, был совершен подлог, подобный которому вряд ли существу-

\* Выделение А. Балабановой.

ет в истории отношений между людьми минимального этического уровня \*..."

"Вызвали бывшего военнопленного, австрийского печатника, перешедшего к большевикам Штейнгарта /Грубера/, находящегося "на работе" в Западной Европе, послали за ним "экстренный поезд", привезли на срывающийся "конгресс" и, уверенные в его покорности любым инструкциям Радека и Зиновьева, приказали прочитать "доклад якобы случайно очутившегося в Москве западноевропейского рабочего". "Докладчик" заявил, что "настроение масс в Западной Европе было революционным, отношение к советской России восторженное, готовность международного пролетариата вступить в немедленный бой в помощь и в подражание русской революции не подлежала сомнению, "вот-вот разгорится пламя"... Это заявление вызвало бурные аплодисменты, в разгар которых Зиновьев предложил объявить недействительным принятое накануне решение /решение не считать конференцию учредительным съездом Коминтерна/ и признать совещание первым конгрессом III коммунистического интернационала.

Ряд оппонентов воздержался, в том числе и А. Балабанова, но — не ушли.

Как-то по приезду в Москву А. Балабанова узнала, что Радек посылает в Италию от имени основанной им секции "иностранцев эмигрантов при НКВД" двух "н и з к о п р о б н ы х а в а н т ю р и с т о в" . Когда я об этом предупредила Ленина, он ответил: "На то, чтобы расколоть партию Турати, и они годятся".

Дверью А. Балабанова в ответ на реплику Ленина, надо думать, не хлопнула. Хоть она и пишет о маккиавеллистической логике Ленина, об использовании им любых подонков, в том числе и в Коминтерне, она продолжает работать секре-

\* До этого, по-видимому, А. Балабанова и не подозревала, на каком "этическом уровне" пребывают ее коллеги и руководители.

\*\* Выделение А. Балабановой.

тарем Коминтерна. И с некоторой гордостью замечает, что к ней лично Ленин относился очень внимательно и терпимо. Ленин своего маккиавеллизма ни от кого в своем окружении не скрывал, так что близость к нему на протяжении многих лет чаще всего говорит не только о его неразборчивости, но и о неразборчивости его приближенных.

Но продолжим рассказ А. Балабановой.

"Окончательный разрыв, — то, что Зиновьев, оказывается, называл "невозможностью работать со мной" — произошел на почве денежной... мне в Стокгольм посылали очень крупные суммы денег, и Ленин в одном из последних ко мне писем писал: "Умоляю вас, не жалеете денег. Тратьте миллионы" /и тут же исправил, написав "десятки миллионов"/."

А. Балабанова ездила к Ленину и Троцкому и получила пояснение, "на что тратить деньги: на создание путем подкупа выгодного для большевизма общественного мнения, способствуя переходу на их сторону всякого рода недоброкачественных, продажных элементов для раскола рабочего и профессионального движения. В конце концов, они, вероятно, были не менее удивлены и "разочарованы" моим неприятием таких методов, чем была поражена я тем, что революционеры, стремящиеся к перерождению и обновлению общества, могли к ним прибегнуть".

Так действовали те, кого по сей день пытаются изобразить космополитами-идеалистами — в отличие от нынешних коммунистов — шкурников, карьеристов, тупиц и корыстолюбцев.

Я же осмелюсь предположить, что политика коммунистов по отношению к некоммунистическому миру представлена здесь в своих вечных и неизменных качествах. Меняются /все расширяясь, усиливаясь и углубляясь/ масштабы и технология этой диверсионно-деструктивной политики, но не ее существо.

Напомню еще один давно опубликованный документ:

Художник Ю. Анненков, свидетельство которого не вызывает у меня сомнений, пишет в своих мемуарах\*, что в

\* Ю. Анненков, Дневники моих встреч, цикл трагедий, т. 2, стр. 279-280, 1966.

1924-м году, в обстоятельствах, о которых он подробно рассказывает, ему удалось переписать в свою записную книжку несколько вопиющих отрывков из ленинских черновиков. Вскоре Ю. Анненков эмигрировал. Ни одно западное периодическое издание не согласилось опубликовать эти тексты. Они увидели свет лишь в книге Анненкова и не получили отклика ни в западной печати, ни в советской прессе, не посмевшей говорить о фальсификации

Вот часть ленинского чернового текста, которую переписал в свою записную книжку Ю. Анненков: "В результате моих непосредственных наблюдений в годы моей эмиграции я должен признаться, что так называемые культурные слои Западной Европы и Америки не способны разобраться в современном положении вещей, ни в реальном соотношении сил. Эти слои следует считать за глухонемых и действовать по отношению к ним, исходя из этого положения.

...На основании тех же наблюдений и принимая во внимание длительность нарастания мировой социалистической революции, необходимо прибегнуть к специальным маневрам, способным ускорить нашу победу над капиталистическими странами.

а/ Провозгласить для успокоения глухонемых отделение /фиктивное!/ нашего правительства и правительственных учреждений /Совет Народных Комиссаров и пр./ от Партии и Политбюро и, в особенности, от Коминтерна, объявив эти последние органы как независимые политические группировки, терпимые на территории Советских Социалистических Республик. Глухонемые поверят.

б/ Выразить пожелание немедленного восстановления дипломатических отношений с капиталистическими странами на основе полного невмешательства в их внутренние дела. Глухонемые снова поверят. Они

\* Дословной публикации этих отрывков нет ни в одном издании сочинений Ленина, но высказываний, очень близких по смыслу, достаточно много.

будут даже в восторге и широко распахнут свои двери, через которые эмиссары Коминтерна и органы партийного осведомления спешно просочатся в эти страны под видом наших дипломатических, культурных и торговых представителей”.

“Говорить правду — это мелкобуржуазный предрассудок. Ложь, напротив, часто оправдывается целью...”

“Капиталисты всего мира и их правительства в погоне за завоеванием советского рынка закроют глаза на указанную выше действительность и превратятся таким образом в глухонемых слепцов. Они откроют кредиты, которые послужат нам для поддержки коммунистической партии в их странах и, снабжая нас недостающими у нас материалами и техникой, восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших будущих победоносных атак против наших поставщиков. Иначе говоря, они будут трудиться по подготовке их собственного самоубийства”.\*

И стиль и смысл этих отрывков чрезвычайно близок к смыслу и стилю многих ленинских высказываний на эту тему. Тактики же, намеченной в этих отрывках, коммунисты придерживаются неукоснительно по сей день.

Надо бы сосредоточить и мощные умственные силы, и максимально возможные средства на обобщении политического опыта XX века и на доведении этого опыта буквально до каждого человека — на языке и на уровне понимания разнообразнейших адресатов.

Именно это и оказывается сложнее сложного и труднее трудного. Вопреки непрерывным утверждениям управляющей Лжи о том, что “мировая буржуазия” тратит чудовищные финансовые резервы на пропаганду антикоммунизма, планетарный Савва Морозов под гипнозом и обаянием планетарного Максима Горького тратит деньги только на помощь своим потенциальным убийцам.

---

\* Выделение Ленина.

#### 4. РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Пожалуй, одна из самых страшных ошибок современной духовной элиты, по существу своему враждебной партотократической лжи, состоит в том, что эта элита не верит в сознательность и целенаправленность действия тоталитарного чудища.

Я четко и упрощенно постулирую факт, для меня бесспорный: партотократии по ряду причин, в данной статье не рассматриваемых\*, стремится к мировой гегемонии. Дезинформация — одно из главных ее орудий в этом процессе. Она это не только осознает — она имеет специальные исследовательские учреждения и реализующие аппараты для внедрения выгодных ей версий происходящего в сознание своих адресатов.

К превеликому сожалению, у партотократии имеются щупальца и в Самиздате, и в Тамиздате, и в оппозиции, и в эмиграции.

Инспирируемых властью версий, циркулирующих в неподцензурной гласности, я здесь не касаюсь, хотя они есть и существенны по своему удельному весу. Есть в Самиздате и хаотическая взаимоцензура. Нелегальная рукопись, представляющая некие оппозиционные к советской власти воззрения, блокируется иногда сторонниками других, и тоже оппозиционных, взглядов, если случайно попадает в руки своих оппонентов по Самиздату и сочтена ими вредной. И наметившаяся партийность, и борьба за свою идеологическую монополию суть атрибуты не только свободной российской, а всякой свободной гласности. В пределах плюралистической гласности циркулирует множество направлений и мнений, вплоть до весьма малопочтенных, вроде культа аморализма, расизма, “ангажированности” тоталитарными силами или свободной склонности к тайной цензуре. Свобода есть раскрепощение взглядов, а не господство некоего правильно-

---

\* См., например, Д. Штурман, “В поисках упорядоченности”. /“Грани”/

го представления. В идеале свобода предполагает легализацию правовой демократической борьбы за свои взгляды. Несчастье же заключается в том, что и в свободных обстоятельствах сторонники наиболее продуктивных взглядов не хотят, не умеют или не имеют возможности за себя бороться.

Важно еще одно обстоятельство: управляющая Ложь направлена узкими когерентными лучами на заданные ее генератором объекты и к тому же способна настраиваться на собственные резонансные частоты этих объектов, что в огромной степени способствует ее усвоению. Правда же генерируется множеством несогласованных между собой и не сконцентрированных в нужных направлениях свободных источников. Она освещает лишь то, что случайно оказывается в поле ее излучения. Лазерный луч на частоте спектральной линии и рассеянный белый свет обыкновенной лампы — так соотносятся между собой Ложь и Правда по способу их воздействия на окружающих.

Рассеянный свет не может одолеть силу такой концентрации, такой целенаправленности и такой созвучности соблазнам, одолевающим человечество, как управляющая Ложь XX века.

Ибо Ложь, о которой идет здесь речь, овладевает и продолжает овладевать нами не в силу общечеловеческой или чьей-то национальной приверженности ко Лжи, а потому что была принята нами за Правду. Она и сама себя долго считала Правдой. А потому научилась делать ставку на наши иллюзии.

Социалистическая /коммунистическая/ идея так могущественна и живуча потому, что в ней далеко не все и далеко не всегда стимулировалось и порождалось чьей-то злой волей. Тягой к утопиям мы обязаны нетерпению спасти страждущих и филантропическому максимализму, который не удовлетворяется наименьшим из зол, а жаждет "абсолютного" /на Земле!/ блага.

Сейчас мы настроены так, что видим лишь реальное Зло ряда бесчеловечных опытов, но не помним /или стремимся не вспомнить/ возвышенных побуждений, взлетов самоот-

верженности, надежд, бескорыстия иллюзий и судеб, вовлеченных нашей общей историей в рождение Зла. Возникла машина, не имеющая ожидавшихся замечательных свойств, но обладающая неожиданными /хотя и предсказанными рядом мыслителей/ ужасными свойствами. Одно из худших качеств машины — ее способность и необходимость, если она хочет себя сохранить, ставить на службу своему управляющему устройству все отрицательные свойства человека. А нередко — и положительные. Но из-за того, что Ложь, которая имеется здесь в виду, родилась из мощного универсального заблуждения, а не из сознательно-преступного замысла, она становится не лучше, а хуже, опасней, — вот в чем несчастье. Куда легче разоблачать отталкивающие всякого нравственного и здравомыслящего человека мифы расизма и личного или национального сверхчеловечества, чем гуманистическую по своему происхождению фразеологию социализма-коммунизма. Произошел не для всех очевидный сдвиг: то, что было когда-то внутренней принадлежностью учения /вера, бескорыстие, благие намерения/, стало маской, приросшей к зловещему лику практики, предопределенной этим учением. Именно этим учением, а не досадными, искажающими его помехами. Но в маске, в пропагандистском плаще, драпирующем страшную суть оборотня, сохранилась притягательность исходной утопии.

В сочетании с централизованностью усилий, с неограниченностью материальных ресурсов, с отсутствием моральных запретов и этических ограничений эта притягательность обеспечивает носителю маски огромные планетарные преимущества перед теми, кто видит скрытую под маской суть.

Но, когда сострадание, любовь к свободе и мысль /в неведении того/ тащат мир в тупики тотала, им не занимать энергии, решительности, инициативы. А потом возникают могучие державные силы, обороняющие и расширяющие выросший из благих намерений ад. И тогда мысль загоняют в клетку, часто безвыходную.

Сегодня же, сострадание, любовь к свободе и разум отвратились от опороченных миражей, им опостытели также

и действие, и решительность, и напряжение, и готовность взять на себя ответственность. Они хотят созерцательности, невинности, беспристрастного диалога с равными.

А между тем надо действовать куда напряженней, чем в пору своей приверженности к иллюзиям-оборотням. Движение из тупика — это движение против течения, а не по течению: против еще владеющих человечеством утопий, и против целенаправленной деятельности партократий, и против общей тенденции материи переходить самопроизвольно лишь из менее вероятных состояний в более вероятные, двигаясь по линии наименьшего сопротивления, выбирать наиболее утешительные, духовно-комфортные из версий, предлагаемых разумом или пропагандой.

Только дух и воля противостоят этой тенденции.

## 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разочарованные тем, что принесла революционная пропаганда последнего столетия, потрясенные тем, что дали миру революционные организации, успешней и больше других занимавшиеся такой пропагандой, нынешние оппозиционеры к тоталитаризму возненавидели пропаганду и организацию.

Это сугубо реактивное неприятие обязательных условий политической деятельности /впрочем, и политическая деятельность, и конституция отброшены реактивным мировосприятием по той же причине, что и пропаганда, и организация/ лишает сопротивление тоталитаризму скелета и мышц. Бронированной машине противопоставляется нечто желеобразное. Есть потрясающие документы, есть неотразимые, казалось бы, книги; есть уничтожительные памфлеты и блистательные аллегории; есть безупречные доказательства своей правоты. Но все это лишено динамики, лишено объединяющих центров — лишено механизмов, которые заставили бы идеи и образы стимулировать определенное поведение общества. В торговой рекламе такие механизмы работают — в самозащитной работе свободной мысли их нет и в помине.

Мысли присуще качество, о котором уже неоднократно писалось: наделив какую-то идею свойствами абсолюта или панацеи, а затем убедившись в уязвимости или порочности этой идеи /точнее — в порочности крайностей этой идеи, ее абсолютов/, мысль шарахается в противоположную крайность. Так поступаем и мы сегодня. Разум оказался не всемогущим? Либерализм не научился противостоять экстремизму? Коммунистический интернационализм — враг национальной свободы? Организацией, пропагандой и конспирацией воспользовались тоталитарные силы?

— Долой упования на разум!

— Анафема либерализму!

— Не к чему добиваться взаимопонимания между народами!

— Долой пропаганду, организацию и конспирацию!

Вернемся к чистому мистицизму, возложим наши надежды на экстремизм и воздвигнем между собою стены воинствующего национализма! Иными словами, вернемся в тупик абсолютизации — антонимов, в котором мы, казалось бы, уже побывали /не раз/.

Но из тупиков, куда заводят людей сострадание, любовь к свободе и разум, только они и могут их вывести. Правда всегда оказывается либо где-нибудь между крайностями, либо на совершенно иной траектории, чем та, по которой мечется маятник реактивной мысли.

Сегодня бешеный натиск управляющей Лжи на мировое сознание и в малой доле не уравновешивается просветительской и контрпропагандистской работой Правды.

Если учесть еще и фактор времени, задача противоборства между Правдой и управляющей Ложью не порождает особого оптимизма. Но и не становится безнадежной.

Неизвестно, успеем ли мы найти выход из лабиринта, в центре которого поджидает нас Минотавр партократии, но ничего невозможного в отыскании этого выхода нет. И, когда вспоминаешь о существовании этого выхода, о его неисключенности /во всяком случае, о неполной его исключенности/ в душе начинает тихо играть "надежды маленький оркестрик под управлением Любви" /Б. Окуджава/.





Илья ЛЕВКОВ

## СОВЕТСКИЕ НЕОФИТЫ В ЗАПАДНОМ БЕРЛИНЕ

В центре Западного Берлина, напротив Технологического Университета, расположен маленький проходной сквер, заполняемый обычно студенческой молодежью и окруженный со всех сторон кафе. Похоже, что многочисленные обитатели этих кафе вовсе не замечают двух памятников, установленных в этом сквере, один из которых посвящен жертвам нацизма, а другой — жертвам сталинизма. Так вот, 8 декабря 1979 года поблизости от этого сквера полиция обнаружила труп некоего Александра Вахновского, который был убит 21 ударом ножа. Вахновский не был ни жертвой нацизма, ни сталинизма. Он стал жертвой международной банды, которая занималась подделкой советских документов. Спрос на эти документы, главным образом на въездные визы в Израиль, исходил от бывших советских граждан. Фальшивые документы давали им право на въезд в Западный Берлин, который разрешен только беженцам, не имеющим гражданства.

Как известно, советские евреи, ставшие гражданами Израиля или других стран, не считаются беженцами. И вот они воз-

вращаются в Вену, покупают фальшивые визы, которые свидетельствуют, что они выехали из Советского Союза лишь несколько дней назад, и таким образом переводят себя в категорию беженцев.

Исследователи новейшей истории знают о подобного рода подделках советских документов агентами Третьего Рейха. Их подделки сопровождались тончайшим химическим анализом бумаги, чернил и печати. Но эта аккуратность и привела их к трагической ошибке: скрепки для советского паспорта, трудовой книжки и т. п. они сделали из нержавеющей стали. Советские же скрепки ржавели быстро, оставляя ржавую пыль на страницах паспорта.

Сегодня советская выездная виза — это просто лист зеленоватой бумаги, нет скрепок, нет ржавчины и... делается хороший бизнес. Дело оказалось до того привлекательным, что появилась потребность разделить немецкую территорию между различными фирмами новых "бизнесменов". Этот джентльменский договор о разделе "сфер влияния" наткнулся на традиционные затруднения, подобные тем, что пережили "дети лейтенанта Шмидта".

Первые признаки того, что не все в порядке в "графстве Западного Берлина", появились еще в ноябре 1978 года. При обыске квартиры 40-летнего Леонида Баткина полиция обнаружила чистые бланки советской выездной визы и подделанные штампы и печати советских органов МВД.

В июле 1979 года Римский отдел Интерпола обратился к полиции Западного Берлина с просьбой раскрыть два убийства, происшедших в Остии, в эмигрантском лагере советских евреев. 9 июля неизвестные закололи Баткина и несколькими выстрелами из пистолета убили его "телохранителя" Олега Мартковича.

В тот же июльский день полиция обнаружила в лесу тяжело раненного ударами ножа эмигранта Лазаря Берковича. Итальянская полиция установила, что Баткин был убит неким Александром Шпунковым, известным по кличке "Саша". Стало известно, что Баткин пытался прервать свои отношения с группой, изготавливающей фальшивые документы.

Убийство Вахновского, известного тем, что он изготавливал в Западном Берлине фальшивые визы, стало для полиции последним толчком, побудившим ее открыть специальное дело. В убийстве Вахновского подозревались братья Роман и Михаил Мордухаевы. За несколько дней до их суда единственный свидетель, 34-летний Михаил Бессорин, подозрительно умер в тюрьме во время пожара, где он отсиживал 14-месячный срок за... поджоги. За недоказанностью преступления братья Мордухаевы были освобождены.

Однако в ходе процессов выяснилось, что около 47% советских евреев, проживающих в Западном Берлине, въехали сюда с фальшивыми документами. Предчувствуя недоброе, многие иммигранты обратились в полицию с заявлениями о том, что их документы, включая выездную визу, метрики, свидетельства ЗАГСов, дипломы, водительские права и трудовые книжки, были куплены у неизвестных лиц, изготавливавших фальшивые документы на Западе.

Итак, каким образом более двух тысяч советских евреев "дошли до Берлина" и что происходит с ними на этом крохотном острове Запада в социалистическом лагере?

Две характерные черты Западного Берлина дают ответ на этот вопрос. Во-первых, это — единственный город в Европе, традиционно принимающий беженцев из коммунистических стран и обладающий учреждениями для их абсорбции.

Лагерь беженцев в Мариенфельде был основан для приема немецких беженцев, изгнанных с восточных территорий, отошедших после окончания второй мировой войны к Польше. Позже около 17 миллионов немцев, сбежавших из Восточной Германии, сделали в лагере Мариенфельд свою первую остановку на пути на Запад. По иронии судьбы сегодня в этом лагере оседают советские евреи.

Вторая причина, объясняющая тягу советских евреев в Западный Берлин, — это развитая система социальной помощи и экономической поддержки, оказываемой немецким гражданам, включая натурализовавшихся граждан, временных жителей и новопривывших.

История "открытия" Западного Берлина, возвращает нас к 1971 году, когда один советский еврей с израильским паспортом прибыл в этот город и провозгласил себя беженцем. В качестве беженца он был принят /без всякого шума/ в Мариенфельде.

Беженцы живут в этом лагере в обычных двухэтажных домах, напоминающих современные жилые постройки. По-видимому, это и произвело на новопривывшего большое впечатление. Поняв, какое замечательное открытие им сделано, этот "неофит" немедленно пригласил сюда своих родственников из Израиля. Скоро возможность хорошо устроиться в Западном Берлине перестала быть секретом для советских евреев.

Точная статистика относительно числа советских иммигрантов в Западном Берлине хранится в тайне как Берлинским сенатом, так и главой еврейской общины города Хайнцем Галинским.

Тем не менее, на основании сведений, опубликованных в берлинских и германских газетах, а также из ряда бесед с советскими евреями в Берлине я пришел к заключению, что после 71-го года каждый год в Берлин прибывало примерно 250 евреев из СССР.

В 1973 году сюда приехали 238 советских евреев. В ноябре 1974-го года их число достигло 527. В ноябре 1975-го — 800, а в апреле 78-го — 1300. В апреле 79-го в Берлине уже находилось почти 2000 еврейских иммигрантов.

Советские евреи прибывали в Берлин разными путями. Первые 500 приехали из Израиля и являлись израильскими гражданами. Конституция Западной Германии предоставляет право убежища для беженцев, однако в ней ничего не сказано о "вторичном" убежище. В этом, собственно, и заключалась проблема советских евреев, прибывавших в Западный Берлин с израильскими паспортами. В 1974 году премьер-министр Израиля Рабин побывал в Западном Берлине и обратился к властям города с просьбой прекратить прием советских евреев с израильскими паспортами. Берлинские власти сог-

ласились выполнить просьбу Рабина, однако поток еврейских иммигрантов не сократился.

Итак, Западный Берлин все более привлекал внимание советских евреев, не желающих ехать в Израиль, и группа лиц уже обосновавшихся в Берлине, решила устроить из этого бизнес.

С западноберлинскими документами в кармане они отправлялись на собственных автомобилях в Вену и Рим и там вели агитацию среди колеблющихся. Они ходили из квартиры в квартиру, расписывая прелести берлинской жизни и предлагая желающим доставить их в Берлин, разумеется, нелегально через Мюнхен или Франкфурт-на-Майне. Плата за этот "сервис" колебалась от 300 до 500 американских долларов за человека, принимались только американские доллары.

В одном автомобиле обычно усаживались 3—4 человека, так что бизнес был весьма выгоден. Полет на самолете из Мюнхена или Франкфурта в Берлин оплачивался отдельно.

По прибытии в Берлин советские эмигранты представлялись иммиграционным властям или работникам Красного Креста как беженцы.

Правила этих организаций запрещают спрашивать беженца, каким путем достиг он данного пункта. Единственным документом, необходимым ему для регистрации в Мариенфельде, являлась советская виза в Израиль.

Первая стадия "абсорбции" начиналась в Мариенфельде и длилась четыре месяца. Мнимые беженцы получали жилье, питание и медицинское обслуживание бесплатно, кроме того каждому выдавалось по 70 германских марок /36 долларов/ в месяц. За первые четыре месяца новоприбывшим предлагалось начать приобщаться к нормальной жизни в Германии. Первый и самый "низкий" статус Duldung /"Терпимый"/ давал беженцам право на работу. Через два года они могли просить о присвоении следующего статуса: Aufenthaltserlaubnis. Это что-то вроде статуса временного жителя, дающего, кроме права на работу, так же и право на получение социальной помощи, свободного передвижения по Федеративной Респуб-

лике Германии, право на получение дешевой, субсидируемой городом квартиры.

В результате усилий Хайнца Галинского этот двухгодичный срок был сокращен для советских евреев до 6 месяцев. Статус временного жителя дает также право получить Fremdepass — специальный статус временного гражданина Западного Берлина. Через 8—10 лет его обладатель получал право на Ausweiss, полное гражданство Западного Берлина, которое может перейти в гражданство ФРГ в случае простого переезда из Берлина в любую часть Германии.

Чтобы сократить время интеграции и добиться лучшего отношения к себе со стороны немецких властей, советские евреи пытаются представить себя не просто политическими беженцами, но и претендующими на особые льготы "лицами немецкой национальности" — статус, появившийся на свет в результате закона, принятого во времена нацизма. Этот закон давал возможность представителям многих национальностей требовать немецкое гражданство на основании знания ими немецкого языка и принадлежности к немецкой культуре.

Нацисты использовали этот ставший в свое время знаменитым закон для того, чтобы оправдать вторжение в другие страны будто бы с целью охраны прав живущих в них немцев. Опираясь именно на этот закон, нацистская Германия расчленила Чехословакию и включила в свой состав Судеты, густо населенные немцами.

Так вот, многие советские евреи, ссылаясь на этот закон, требовали и к себе особого отношения. Хотя сами они и не могли говорить по-немецки, но их родители якобы разговаривали на средневековом немецком языке.

Вначале берлинские власти, по-видимому, испытывая определенный комплекс вины, не решались возражать. Коллеbanия властей ободрили советских евреев, прибывавших преимущественно из Одессы, и они стали энергичнее добиваться привилегированного статуса Volksdeutsche. Лица, приезжавшие из Прибалтийских республик, добивались привилегированного статуса на основании того, что они или их

родители изучали немецкий язык в школе и были воспитаны на немецкой культуре.

Однако со временем местные власти стали более придирчивы к новоприбывшим из СССР. Так, 175-я сессия Берлинского сената лишила 300 советских евреев права оставаться в Западном Берлине, поскольку все они не выдерживали критерия принадлежности к германской нации. В результате 300 новоприбывших должны были быть высланы из Западного Берлина, однако по чисто политическим причинам сенат не привел свое решение в исполнение. С правовой точки зрения, решение сената было вполне обоснованным. Представитель сената Герр Струве открыто заявил: "Мы не собираемся вводить специальные законы для евреев, и наше решение в данном случае согласовано с еврейской общиной".

Поскольку эти 300 человек не могли быть приняты как "изгнанные немцы" — их ожидала высылка в Израиль, паспортами которого они обладали. Однако сенат решил продемонстрировать гуманность и даровал им на некоторый период статус временных жителей, а затем разрешил сменить его статусом *Fremdepass*.

Сегодня введены новые правила, по которым проверка принадлежности к немецкой нации — включает строгую проверку знания немецкого языка. А для того чтобы предотвратить обход этого академического барьера, иммигрант из СССР должен ответить на вопрос, к какой национальности он причислял себя во время опроса населения, проводившегося в Советском Союзе в 70-м году.

Однако у каждой меры есть свои контрмеры, и иммигранты разработали новую систему, позволявшую им обойти эти требования.

Возле Одессы была когда-то маленькая деревня, населенная немцами, — Лихтендорф. Во время войны архивы этой деревни погибли. И вот все большее число прибывавших в Берлин одесских евреев стали утверждать, что они родились и выросли именно в этой деревне.

Но и берлинская бюрократическая машина не намерена отступить. Как известно, эмигранты из Прибалтики изучали в детстве немецкий язык. И это они также пытаются предста-

вить как признак своей принадлежности к немецкой культуре. В ответ берлинские чиновники решили потребовать "объективное" свидетельство: "Если вы получили немецкое воспитание /при этом ваша няня, вероятно, была немкой/, то не могли же вы забыть детские колыбельные песни на немецком языке. Таким образом, идет бюрократическая битва, выиграв которую эмигранты получают вождеденный гражданский статус. В своих многочисленных беседах с евреями из СССР я невольно наблюдал парадокс: абсолютно ничего не связывает их с Западным Берлином — ни национально-исторические связи, ни культурная тяга, ни симпатии к немцам, но, с другой стороны, все они стремятся жить именно здесь. "Отчего же так?" — спросил я одну женщину из Одессы. "Оттого, — ответила она, — что у меня здесь есть шанс выбиться". По профессии эта женщина была парикмахером.

Как же сегодня устраиваются советские евреи в Берлине? Широко развитая система социального обеспечения распространяется на всех легальных жителей города. Новоприбывший получает бесплатную квартиру, ежемесячное пособие в 300 немецких марок /160 долларов/ и пользуется различными привилегиями при оплате счетов за коммунальные услуги. Власти полностью оплачивают расходы за перевозку багажа из Советского Союза. Это — тоже значительная сумма, которая полностью не оплачивается ни в одной стране мира, включая Израиль. Город оплачивает и языковые курсы при Институте им. Гете. Длительность учебы зависит от специальности человека: инженеры получают содержание до 6 месяцев, врачи — до 2 лет. В течение этого времени и они, и их семьи находятся на социальном обеспечении.

Профессиональный профиль советских евреев, приезжающих в Берлин в общем такой же, как и всюду. Встречаются здесь инженеры, врачи, музыканты, техники, меховщики, обувщики, медсестры.

Поскольку от лиц с медицинским образованием здесь требуется только сдача языкового экзамена, некоторые из врачей, которые жили в Соединенных Штатах и не смогли сдать специальный экзамен, планируют переезд в Берлин. Однако в целом проблема трудоустройства в Западном Бер-

лине стоит довольно остро, даже если дело касается квалифицированных специалистов. Вот лишь некоторые примеры.

Инженер Александр Абрамович в течение четырех лет боролся за право эмигрировать. Добиваясь выезда, он написал около четырех с половиной тысяч писем советским руководителям. И, наконец, в 1968 году получил разрешение эмигрировать в Израиль, где свыше пяти лет работал по своей специальности на нефтехимическом комбинате. Здесь он изобрел электронный метод взвешивания газов, более эффективный, чем старый метод Бунзена-Шиллинга, который применяется сейчас. Александр Абрамович уехал из Израиля и приехал в Берлин, надеясь на получение патента, однако надежды не оправдались. Германское патентное управление отказалось признать его изобретение, даже не объяснив причин. А пока новоиспеченный берлинец живет один, получая помощь от отдела социального обеспечения в сумме 300 марок и 30 пфеннингов в бедном районе Берлина, а его семья ждет его в Израиле. Возможно, приведенный случай и не вполне типичен, но он отражает трудности адаптации новых иммигрантов.

Стиль жизни советских евреев в Западном Берлине отличаются определенные характерные черты. После получения документов, дающих возможность выезда за границу, некоторые из новоприбывших /в большинстве своем бывшие одесситы/ проводят свой первый отпуск в коммунистической стране — Болгарии. Почему именно здесь? Причин, по-видимому, несколько. Во-первых, это дает им сознание того, что они европейцы. Во-вторых, болгарский язык наиболее близок к русскому, и болгары меньше, чем другие народы Восточной Европы, заражены антисемитизмом. Отдых в Болгарии недорог. Недельный отпуск, включая все расходы, стоит 150 долларов. Однако главным является то, что многим советским евреям не разрешались поездки на "Золотые пески" Болгарии. И сейчас они как бы осуществляют заветную мечту.

Социальная интеграция новых иммигрантов трудна, а иногда и болезненна. Хотя Берлин — один из наиболее либераль-

ных городов Германии, тем не менее и это традиционно немецкий город. И если немцы сдержаны даже по отношению друг к другу, то относительно иностранцев эта сдержанность особенно ощутима. Может быть, оттого, что в Берлине живет около двух миллионов иностранных рабочих, в большинстве из Турции, Югославии и Марокко.

Все это не может не отражаться и на отношении к советским евреям, которым трудно войти в немецкое общество — они остаются как бы вне жизни города, стараются быть вместе и чаще всего общаются с земляками.

Многие из них не в состоянии овладеть немецким языком, читают только русские газеты и журналы, поступающие из Израиля, США и Франции. "Разговение" приходит каждый четверг вечером, когда по второй телевизионной программе Восточного Берлина демонстрируются советские фильмы. Этот образ жизни приводит к раздвоению людей, которым трудно порвать со своим прошлым.

Социальные связи между еврейской общиной и выходцами из СССР существуют, как правило, лишь в начале их пребывания в Берлине. Община помогает им найти квартиру, зарегистрироваться в отделе социального обеспечения и по возможности найти работу. Отношения между местными и приехавшими в Берлин советскими евреями носят чисто функциональный характер.

Одной из причин является психологическая структура берлинского еврейства, которое разделено на две группы: местных немецких евреев и восточноевропейских, приехавших в Берлин после второй мировой войны. Восточноевропейские евреи всегда считали немецких более образованными в связи с их интеллектуальными достижениями и более глубокой степенью интеграции в немецком обществе. Такого же мнения о себе придерживаются и сами немецкие евреи, независимо от того, где они живут: в Европе, Израиле или США.

Структура еврейской общины Берлина отражает эти глубокие различия. Немецкие евреи собираются в реформистской синагоге на улице Пестолоцци, где поет хор во главе с известным кантором Эстранго Нахама. Их клуб носит имя известно-

го немецкого раввина Лео Бэка. Восточноевропейские евреи — в большинстве своем польского и венгерского происхождения — ходят в ортодоксальную синагогу, которая находится на Иоахимсталлер-штрассе. Их клуб носит имя Януша Корчака.

Впрочем, ни одна из этих двух групп не встречает вновь прибывших советских евреев с распростертыми объятиями. Восточноевропейские евреи не заинтересованы в "сближении" с Востоком. Немецким же евреям представляется малопривлекательным превращение их в меньшинство в своем собственном городе.

Особой проблемой еврейских эмигрантов является образование их детей. Сложность ситуации определяется не только языковым и культурным барьером, но и общей системой образования в Германии. По этой системе детей после окончания четырех классов подразделяют на две группы: одни кончают школу с правом поступления в университет, другие получают общее образование, которое дает возможность приобретения определенных профессий. Только 6—10% немецкой молодежи, относится к первой группе. Учащиеся невероятно перегружены. Многих это толкает на крайние шаги, включая самоубийства, число которых вызывает тревогу в обществе.

В атмосфере такой конкуренции новоприбывшие, естественно, попадают в невыгодное положение.

Множество проблем возникает и в связи с совершенно новым этническим окружением. Хотя многие советские евреи считают себя европейцами и выдвигают этот аргумент едва ли не как главный, выбирая Берлин, а, скажем, не Нью-Йорк или Бостон, — на самом деле они довольно быстро проявляют себя как люди совершенно иного склада, — пораженные богатством берлинских прилавков некоторые не могут устоять перед искушением припрятать кое-что за пазуху. Полиция, как правило, без лишнего шума сообщает об этом общине и просит прислать ее представителя для того, чтобы выручить провинившегося. Перед наиболее популярной вечерней прессой возникла дилемма. Вечно ищущие

сенсаций журналисты не решались касаться скандалов, связанных с советскими евреями, поскольку вечерняя пресса контролируется Акселем Шпрингером, немецким Херстом, который глубоко симпатизирует Израилю. В конце концов, газеты решили так: вместо того, чтобы писать, что советский еврей был пойман на воровстве, они назвали его бывшим советским гражданином. Это удовлетворило Аксея Шпрингера, но вызвало официальный протест советского представителя, расценившего такое выступление как очередной анти-советский выпад.

Рост числа советских евреев в Берлине получило и своего рода международный резонанс.

То, что Берлин стал для них прибежищем, вызвало протест со стороны советских властей, поскольку город официально находится под контролем четырех держав. Протест поступил и из арабских стран, и от палестинцев, угрожающих Германии сокращением поставок нефти. Хани-аль-Хасса, один из советников Арафата, откровенно заявил, что поощрение эмиграции советских евреев в Берлин может привести к серьезным экономическим последствиям для Бонна. Эти угрозы представляются загадкой для специалистов по Среднему Востоку. ООП критикует Советский Союз за то, что он дает возможность евреям эмигрировать в Израиль, а Германию за то, что она принимает евреев из Израиля! ГДР тоже высказала протест против присутствия советских евреев в Берлине и, таким образом, критикуя Бонн, пыталась повисить свои политические акции в глазах арабских государств.

Хайнц Галинский протестует против ограничения еврейской эмиграции в Берлин, ссылаясь на то, что городские власти терпят присутствие более 1000 палестинцев в Берлине, большинство из которых живет здесь нелегально. А Галинский — главная фигура среди людей, занимающихся советскими евреями в Берлине; он пользуется особым авторитетом у городских властей. Так, с точки зрения Галинского, Израиль — небольшая и необычная страна, и поэтому, естественно, что некоторые советские евреи не могут приспособиться к его климату и условиям. Исходя из этого, глава еврейской

общины считает своей обязанностью помогать каждому, кто стучится в его дверь. В 1975 году около 3000 евреев пытались обосноваться в Европе: 900 — в Берлине, 400 — во Франции, 50 — в Голландии. В это время в Берлине проживало 540 советских евреев, и Галинский полагал, что в связи с воссоединением семей община может увеличиться на 100-150 человек. С его точки зрения, это было далеко недостаточно.

Он высказал предложение, чтобы и остальные федеральные земли ФРГ приняли те же эмиграционные положения, которые действуют в Западном Берлине. Это могло бы создать условия для приезда 8000 советских евреев в Германию. Власти ФРГ отвергли это предложение, и на сегодняшний день общее число советских евреев в ФРГ приближается лишь к 500.

Впрочем, Галинский ошибался, когда предполагал, что общее количество советских евреев в Западном Берлине не превысит 700. Сегодня их здесь 2500, и эта цифра растет. Галинский считает, что Берлину необходима полнокровная еврейская община, поэтому он рассматривает поддержку эмиграции советских евреев как своего рода историческую миссию. Вместе с тем, его готовность бороться с берлинскими властями за разрешение на въезд евреев связана с его доброжелательным отношением к Израилю. Известно, что между Берлинским сенатом и главой еврейской общины существует негласное соглашение относительно того, какому числу евреев будет разрешено эмигрировать в Берлин. Точная цифра никогда не называлась, и в частном разговоре Галинский дипломатично ушел от ответа. Для него проблема присутствия советских евреев в Берлине не связана с другими проблемами. Галинский даже не готов ее рассматривать в связи с будущим еврейской эмиграции из Советского Союза.

Авторитет Галинского объясняется не только его особым положением в общине и его тесной связью с Берлинским сенатом, но и тем, что он является членом Центрального Совета евреев Германии. Этот Совет поддерживается Еврейской Конференцией по проблемам компенсации, которая, в свою очередь, ведет переговоры с правительством ФРГ по поводу

выплаты дополнительных 650 миллионов немецких марок тем жертвам нацизма, которые не имели возможности подать прошение до 1965 года. Среди этих жертв немало и сегодняшних жителей Берлина, приехавших из СССР.

В декабре 1979 года приведенная выше сумма была снижена до 250 миллионов долларов, которые будут распределены между жертвами нацизма в течение 1980—1982 гг. При этом 23 миллиона долларов выделено для еврейской общины Западной Германии. Однако оппозиция — ХДС/ХСС — и их партнер по коалиции ФДР /либералы/ поставили условием проведения этого закона\* в Бундестаге восстановление пенсионных прав бывших кадровых офицеров, членов СС и нацистских чиновников. Их права на пенсию были аннулированы статьей 31 Конституции. Таким образом, распределение политических сил в Бундестаге связало будущее благосостояние советских евреев в Западном Берлине с реабилитацией бывших чиновников и офицеров нацистского режима.

Каковы перспективы новой общины советских евреев, в Западном Берлине? Каковы их взгляды на собственное будущее? Некоторые из них, такие, например, как бывший москвич 39-летний Игорь Едлин, хотят адаптироваться, чтобы чувствовать себя немцами среди немцев. Большая группа советских евреев выразила желание перейти в католичество, чтобы избежать дискриминации в будущем, не подозревая того, что католики тоже представляют собой меньшинство в Берлине. Другие хотят остаться евреями. Однако их иудаизм не имеет глубоких корней, поэтому они вряд ли будут в состоянии его сохранить.

Тот факт, что знание советскими евреями Германии в прошлом было весьма искаженным, и привел их, вероятно, к решению связать свое будущее с Берлином. Германия изображается советской пропагандой неоднозначно. С одной стороны, на советскую публику обрушиваются тысячи фильмов о войне, книг, песен и поэм, изображающих жестокость нацистов. Советский Союз потерял свыше 20 миллионов

---

\* Бундестаг принял этот закон 5 октября 1980 г.

человек и сотни городов были разрушены. С другой стороны, слепое восхищение перед всем, что сделано в Германии, традиционно для России и Советского Союза. Последнее, по видимому, и помогает советским евреям прежде всего видеть те изменения, которые произошли в ФРГ, а не ее трагическое прошлое.

Реакция немецкого общества на телефильм о жертвах нацизма произвела положительное впечатление на советских евреев, которые не ожидали, что этот фильм, демонстрируемый в течение недели, вызовет у немцев такой интерес. Однако их поведение напоминало некий "познавательный диссонанс", когда, впитав определенного рода сведения, человек блокирует новую, противоречащую им информацию. Так, советские евреи не обратили внимания на два события, которые произошли в течение упомянутой недели. За два дня до передачи фильма неонацисты взорвали две телевизионные башни, по которым должна была транслироваться передача. И почти никто не обратил внимания на то, что американского учителя-еврея ученики встретили плакатом "Всех евреев следует отправить в газовые камеры". Школьное руководство решило не наказывать учеников, а предложило учителю подыскать другое место работы.

Деятельность 15 неонацистских групп в Западном Берлине направлена, в основном, против евреев. В апреле 1977 года на 200 надгробных камнях, на еврейском кладбище в Ганновер-Ботфельде, были нарисованы свастики. Одна из нацистских публикаций в Гамбурге гласила: "Мы уважаем покой мертвых, даже мертвых с крючковатым носом. В конечном счете, мертвый еврей — хороший еврей". Но ни одна из угроз этих нацистов не поколебала спокойствия новых иммигрантов.

То, что советские евреи как бы блокируют мысль о прошлом Германии, может быть объяснено их недоверием и неприязнью к пропаганде. Это же, кстати, наблюдается и среди евреев, эмигрировавших в США. Они просто отказываются верить любому советскому сообщению о западных странах, и поэтому были удивлены, когда оказалось, что некоторые вещи, о которых сообщали их газеты, соответствуют дейст-

вительности.

Советские евреи проводят выходные дни, гуляя по берегу Ванзее, не отдавая себе отчета в том, что на этом месте жестокий план уничтожения евреев был возведен на уровень государственной политики.

Жизнь евреев в послевоенной Германии живо отражена в книге Лео Качена "Евреи в сегодняшней Германии". Большинство евреев живут в состоянии нервного напряжения, проникнутого самобичеванием, беспрецедентным даже для евреев. И, естественно, советским евреям, избравшим Западный Берлин в качестве свободной гавани, придется приложить невероятные усилия, чтобы пожать плоды свободы и выжить как еврейская община на этом острове, окруженном "социалистическим лагерем".

**Авторизованный перевод с английского  
/журнал "Midstream"/**





Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

## ИЗРАИЛЬ - ГОД 2000-Й

Сегодня, по-видимому, самым актуальным вопросом в Израиле является вопрос — что будет со страной. Именно он выражает всеобщую неуверенность, царящую в умах израильтян.

С одной стороны, заключено мирное соглашение с Египтом, но и оно, похоже, садится на мель в связи с проблемой автономии для палестинских арабов. С другой стороны, арабский "фронт отказа", включающий все арабские страны /помимо Египта/ и, конечно же, Организацию Освобождения Палестины, представляет собой прямую военную угрозу Израилю.

Да и внутреннее положение страны не столь радужное. По темпам инфляции Израиль вышел на первое место в мире. Правда, нельзя сказать, что население бедствует, но государство явно не справляется с бюджетом, треть которого уходит на военные расходы, треть — на оплату долгов и только оставшаяся треть на текущие нужды страны.

Поэтому можно понять этот полный тревоги вопрос: "Каковы же перспективы, открывающиеся перед страной?" Будущее, между тем, обьято густым туманом. И не так-то просто сквозь этот туман представить хотя бы в общих чертах его картину.

1

Побывавший в Израиле в 1976 году американский писатель Сол Белоу правильно подметил основную черту современной обстановки в стране. В своей книге "Иерусалим и обратно. Размышления" он пишет: "Разумеется, многие израильтяне отказываются признать, что историческая неуверенность все еще не ликвидирована. Они считают Израиль неизменным фактором, который никто не может поколебать. Для них вопрос решен. Они нация среди прочих наций и останутся ею навсегда. Приходится усилием воли освободиться от этой веры, чтобы прикоснуться к реальной действительности. А реальная действительность в Израиле — это всеобщее стремление избавиться от вечной неуверенности".

В словах этих глубокая, хотя и печальная правда, и было бы бессмысленным ее отрицать.

Сознавая эту правду, живет Израиль с первых дней своего существования, как бы на кратере вулкана. И самое удивительное, что это сознание не только не ослабляет народ Израиля, но, напротив, укрепляет его волю к существованию и борьбе.

Но, повторяю, все это не отменяет ощущения неуверенности, которое извечно переживает страна. Это какая-то "рациональная иррациональность", существующая со времен зарождения сионизма, из которого вырос Израиль. Сионизм казался утопией, и если он все же осуществился — хоть частично, — то это благодаря особому сочетанию исторических условий. И еще благодаря той удивительной воле к национальному возрождению, которую проявил еврейский народ.

Как это ни покажется странным, реализация утопии не свела на нет самой утопии. Недаром властитель дум второй алии А. Д. Гордон выработал целую философию "О невозможной

возможности и о возможной невозможности". Израиль живет как бы на грани между действительностью и утопией. Утопия еще не кончилась, а действительность еще утопична.

Почему это происходит? Израиль не является государством, как все. С одной стороны, это государство, народ которого в своем большинстве /75—78 процентов/ живет за его пределами. С другой стороны, Израиль, включившись в жизнь и политику Ближнего Востока, воспринимается здесь как "инородное тело", как некоего рода "заноза", которую необходимо удалить.

Не надо себя обманывать: Израиль еще продолжает борьбу за свое существование, хотя мирное соглашение с Египтом является важнейшей вехой на его пути. Но кто знает, какова прочность этого соглашения? Вот почему, говоря о будущем Израиля, невозможно уйти от главного вопроса: удастся ли еврейскому государству пробиться сквозь горящий лес арабской враждебности, поддерживаемой одной из двух мировых держав — Советским Союзом?

Второй кардинальный вопрос относится к границам Израиля. Эти границы были расширены в период освободительной войны 1948 года. В итоге Шестидневной войны /1967 г./ в руки Израиля попала и та часть Палестины, которая предназначалась для создания арабского государства. Теперь Израиль борется за "исправление" своих границ, а это предполагает включение в его состав части завоеванных территорий.

Наконец, третий вопрос, который нацелен прямо в сердце Израиля: разовьется ли он в государство, стоящее на уровне мировой культуры, несмотря на свои малые размеры, или превратится в Левантийскую провинцию, в которой внешний блеск лишь покрывает внутреннюю пустоту? Продолжит ли Израиль в своем дальнейшем развитии высокую традицию еврейского интеллектуализма и еврейской морали?

Попытаемся ответить на эти вопросы, опираясь не на досужие предсказания, в которых сегодня нет недостатка, а на исторические факты и тенденции развития.

## 2

Прежде чем обратить взор в будущее, вероятно, надо, хотя бы бегло, оглядеть пройденный путь. Долгие годы сионизм вынужден был бороться за каждый сертификат для нового иммигранта, продвигаясь с притушенными фонарями к своей заветной цели. И только создав в стране этнографическую базу, исчисляемую 500—600 тысячами евреев, сионизм мог решиться на прыжок в неизвестность, прыжок, положивший начало государству Израиль.

Его первая цель, естественно, была направлена на самозащиту, вторая на воссоединение с еврейским народом.

В течение короткого времени Израиль удвоил, а затем и утроил свое население, будучи вынужденным для этой цели форсировать иммиграцию евреев из отсталых стран Азии и Африки. Таким образом, голый скелет государства как бы начал покрываться "живым мясом", но после этого героического усилия национальная революция Израиля начала выдыхаться.

Еще во время первой мировой войны Бен Гурион писал: "Объединение еврейского народа со своей страной, создание жизни на своей родине — это душа, внутренняя сущность, основное ядро наших устремлений".

Так вот — объединение народа со страной не состоялось. Сосостоится ли оно в обозримом будущем? На этот вопрос мы не можем ответить, но пока что Израиль вынужден развиваться как государство без массовой иммиграции.

Нельзя сказать, чтобы Израиль перестал быть еврейским государством. Ворота его остаются открытыми для евреев всего мира, и он является единственным представителем еврейского народа на международной арене. Но в более узком и более конкретном смысле Израиль представляет собой не более чем государство евреев, населяющих его. Связь еврейства с "Эрец Исраэль" не прекратится никогда /как она не прекращалась в течение двух тысяч лет/, но двойственность Израиль — Диаспора также не будет ликвидирована.

Тут-то и начинается подспудный кризис сионизма, существующий до сих пор, так сказать, под коркой общественного сознания.

Сионизм ставил своей задачей разрешить еврейский вопрос, то есть ликвидировать галут — еврейскую диаспору. Этой цели он не достиг и даже, наоборот, он вынужден планировать свое существование, основываясь на поддержке американского еврейства. Оставаясь под почвой, этот кризис "грызет" ткань национального сознания. По-видимому, и ерида, эмиграция из Израиля /говорят о трехстах тысячах израильтян в Америке/ связана невидимыми нитями с этим кризисом. То, что еще несколько лет назад считалось позором и дезертирством, в сегодняшнем Израиле превратилось в обыденное явление.

В конце концов, Израиль должен будет смириться с этим явлением, не сжигая мостов, соединяющих его с диаспорой, а, наоборот, укрепляя связи с ней. Так же как ему приходится мириться с тем, что основная струя еврейской эмиграции /из Алжира, Ирана, России/ направляется не в Израиль, а в страны с более высоким уровнем жизни и большими возможностями. А это неизбежно приведет к тому, что в 2000-м году по существу будет уже другой Израиль. Десионизации не произойдет — ни в плане доктрины, ни в плане реальности. — но Израиль вынужден будет утвердить себя лишь как один /вероятно, главный/, но все же один из центров еврейской жизни, один в ряду других.

### 3

Сионизм превратился из утопии в реальность в тот момент, когда небольшие группы еврейской молодежи /преимущественно выходцев из России/ решили завоевать своим трудом страну, являвшуюся исторической родиной еврейского народа.

Эта решающая роль труда первоначально и определила социальный характер общества в стране.

Царская Россия ввела в мировой обиход два русских слова — "водка" и "казаки". Советская Россия принесла с

собой два других слова — "советы" и "большевизм". Израиль ввел в мировой словарь тоже два новых слова — "кибуц" и "халуц"\*.

Задолго до Октябрьской революции в еврейской Палестине были созданы кибуцы-коммуны. Самое замечательное, что эти коммуны не зачахли, как во многих других странах, а развились в густую сеть поселений. Естественно, не последнюю роль сыграли в этом идейные влияния, привнесенные выходцами из России — Толстой, Кропоткин, народничество, хождение в народ.

Целый исторический период, начиная с 1905 года, в 20-е и 30-е годы, в стране господствовала социальная тенденция, истоком которой был труд, но уже в 50-е годы звезда халуцианства начала закатываться.

Многие спрашивают: навсегда ли? В Израиле существуют целые партии, лозунгом которых является возрождение халуцианства, но возможно ли это?

Сегодня Израиль представляет собой слепок западного потребительского общества со всеми его характерными чертами, с его ненасытной жадой материальных благ. Разница только в том /и это совсем не мало/ наследстве, которое оставила предыдущая эпоха: земля во владении наций, кибуцы, большая часть промышленности в общественном и государственном владении и, наконец, Гистадрут — мощная организация рабочих, своего рода государство в государстве... Что же произойдет в этом смысле с израильским обществом через 20 лет?

На наш взгляд, нет никаких шансов на восстановление "добрых старых времен". Общественный подъем и энтузиазм не могут быть вызваны искусственно какими-либо проповедями. Халуцианский период принадлежит истории, и к нему не может быть возврата. Будущее принадлежит науке и технологии, Израиль явно запаздывает в своем развитии, но он будет набирать силу, ибо человеческого материала, интеллек-

\*Точный перевод: пионер, осваивающий новые земли.

туальных ресурсов, инициативы здесь, можно сказать, в избытке. Поэтому рано или поздно Израиль начнет приобретать профиль индустриальной страны.

Можно предвидеть развитие новой отрасли промышленности, зачатки которой уже налицо,— производство научной информации, и оно, пожалуй, станет доминирующим.

Есть два аспекта будущего развития страны к концу века. Израиль может стать научным центром для еврейской молодежи многих стран и, во-вторых, он может стать индустриальным центром, так сказать "мастерской мира", концентрируя свои усилия на производстве точных приборов, на развитии электроники и т. д.

Наблюдаемые теперь экономические трудности еще долго будут потрясать страну, может быть, до самого конца века. Непосильные расходы на оборону, съедающие треть государственного бюджета, вряд ли смогут быть значительно сокращены в этом все более живущем на грани войны мире. Даже если Израилю удастся добиться мирного соглашения с соседними государствами, он не сможет себе позволить отставать в вооружении от арабского мира.

Американские футурологи, Герман Коген и Антони Вейнер, кажутся слишком оптимистичными, когда предвидят вступление Израиля в постиндустриальный период, где господствует кибернетика, и оценивают его будущий национальный доход на уровне, близком к 6 тысячам долларов на душу населения.

Однако непреложным фактом является высокое развитие технического потенциала страны, нашедшее уже свое выражение в исключительной эффективности сельского хозяйства, а также в развитии авиационной промышленности, базой которой является передовая электроника. Сюда же относится сравнительно высокий уровень жизни населения, являющийся важнейшим фактором, связанный с высокой производительностью труда.

## 4

Читатель ждет, естественно, оценки политических перспектив Израиля, которые могут стать решающими для его судьбы.

Но прежде чем приступить к этой оценке, мы должны поставить вопрос: каким образом сионизму удалось превратиться в политический фактор, а затем и в первоклассный военный фактор на Ближнем Востоке? И это, несмотря на крайнюю ограниченность людских ресурсов и средств, находившихся в его распоряжении. Что обеспечило успех сионизму, который считался недостижимой утопией еще в 20-е годы этого столетия?

О неосуществимости сионизма Карл Каутский писал в 1921 году в своей книге "Раса и еврейство". При этом он опирался главным образом на два аргумента, первый из которых сводился к следующему. Хотя историческое право евреев на Палестину и насчитывает две тысячи лет, но еврейство совершенно перестало быть нацией. Они /евреи/ потеряли не только общую территорию, но и общий язык. Второй аргумент состоял в том, что еврейская колонизация зависела от европейских держав и противоречила интересам арабов. Каутский предсказывал, что еврейская колонизация в Палестине не может не рухнуть, так как англо-французское господство на Ближнем Востоке потерпит крушение. Это только вопрос времени и очень скорого времени. Почему же эти, казалось бы, рациональные аргументы оказались ложными? Не будем вдаваться в схоластический вопрос, являются ли евреи нацией. Достаточно отметить, что они /по крайней мере, значительная их часть/ проявили волю быть нацией.

Нельзя не признать, что ссылка на неизбежное и близкое крушение господства колониальных держав, и, следовательно, связанной с ними еврейской колонизации в Палестине, имела под собой почву. Но почему же колониальное господство рушилось, а сионизм одержал победу? В этом надо разобраться.

Сионизм был действительно связан с Англией, находясь под ее покровительством. Но ошибка Каутского заключалась в том, что еврейское стремление к заселению "Эрец Исраэль" рассматривалось им как колониальное предприятие, а сионизм как "орудие империализма".

На самом деле еврейское национальное движение представляло собой самостоятельный фактор, который взаимо-

действовал с другими политическими силами сообразно необходимости. Эта необходимость продиктовала борьбу с Англией, так же как и сотрудничество с ней на предыдущей стадии.

Еще один вопрос того же порядка. Почему советская оценка перспектив арабо-израильской войны в 1967 г. оказалась ошибочной? Ведь нет никакого сомнения в том, что в руках Советского Союза была отличная информация об израильских вооруженных силах. Почему же советское руководство оказалось жертвой роковой ошибки? Ответ на этот вопрос сродни ответу относительно ошибочных аргументов Каутского. Советы недооценили самостоятельности и динамичности национального движения народа Израиля.

Перейдем теперь от истории к современной действительности. Со времени Шестидневной войны в политической ситуации Израиля произошли две крупные перемены. Одна — это усиление роли Организации палестинских арабов /ООП/, завоевавшей в наши дни почти всеобщее международное признание. Ашаф олицетворяет одно из самых крайних антиизраильских течений в современном арабском мире.

Правда, его программа базируется на требовании превращения Палестины в "демократическое", "советское" государство всех трех религий — арабской, христианской и иудейской. Но это является не чем иным, как слегка завуалированным требованием ликвидации Израиля как еврейского государства и возвращения всей страны арабам. Ашафу нельзя отказать в тактической маневроспособности. В отличие от предшествовавших ему Палестинских организаций /Шукейри/ Ашаф не выдвигает на первый план свои, направленные против евреев притязания, а пытается утвердиться — и совсем не безуспешно — как национально-освободительное движение, направленное против израильского господства на завоеванных территориях.

В действительности, дело обстоит значительно сложнее, чем это пытается представить вождь Ашафа Арафат. Большая часть Палестины была в 1922 году выделена в самостоятель-

ное Арабское эмиратство /носившее название Заиордания/ и тем самым отторгнута от территории еврейского "национального дома".

После войны 1948 года западный берег был также присоединен к Иордании, где была сконцентрирована добрая половина палестинского народа.

Многие израильтяне спрашивают: отчего Иордания не является родиной палестинских арабов?

Подобная постановка вопроса отнюдь не решает проблемы территорий, завоеванных Израилем в Шестидневной войне и населенных миллионом арабов. Политика, которая игнорирует этот факт, поворачивается спиной к проблеме, она подобна поведению страуса, прячущего голову в песок. Именно эта страусовая политика нынешнего правительства Израиля является одной из причин головокружительного успеха Арафата, выступающего защитником арабов на завоеванных территориях, их права на национальное самоопределение. Ашаф взшел на дрожжах израильского "нет", — "нет" палестинскому народу как особому национальному организму, "нет" его национальным стремлениям и правам. Надо признать, что в этом единоборстве Израиля с ООП чаша весов склоняется не в сторону Израиля.

Другая большая перемена — это подписание Египетско-Израильского мирного договора, событие, равного которому по своему значению не было, если не считать самого образования Израиля в 1948 году. Фронт тотальной арабской вражды против Израиля прорван. Самое большое арабское государство отказалось от оружия войны, признало право Израиля на существование и изъявило даже готовность считаться с нуждами израильской безопасности.

Карта Ближнего и Среднего Востока изменилась. К концу века, а может быть, и значительно раньше, Израилю придется сесть за стол переговоров с Организацией палестинских арабов. Соглашение с палестинцами является также ключом к реализации Израильско-Египетского договора.

И если вы спрашиваете: чего же можно ожидать в буду-

щем, то ответ на это гласит: Израилю придется отступить с завоеванных территорий. К концу века это станет свершившимся фактом. Возможно, еврейское государство переживет вспышки братоубийственной, гражданской войны, но это не изменит хода истории. Израиль не сможет выстоять против всего мира, особенно, когда Америка в своем стремлении оказать на него давление перейдет от слов к делу, а это неизбежно рано или поздно произойдет.

## 5

Но отчего Египет пошел на соглашение с Израилем, не считаясь с тем, что он восстановил против себя весь арабский мир? Это произошло главным образом в результате двух сдвигов: во-первых, Египет убедился в том, что опрокинуть Израиль войной, особенно, если тот пользуется поддержкой Америки, невозможно; во-вторых, Садат не хочет советского вмешательства, неизбежного в случае возобновления курса на войну с Израилем.

Таким образом, мы сталкиваемся с вопросом о перспективах советского влияния на Ближнем Востоке.

Изгнание русских из Египта отбросило их далеко назад. Советизация Египта провалилась. Но это не означает, что возможно полное удаление Советского Союза с Ближнего Востока. Русские выступают здесь как постоянный политический фактор и, по-видимому, таким и останутся в будущем.

Неизбежна ли крайняя советская враждебность к Израилю?

Израиль как государство возник при поддержке, оказанной ему обеими сверхдержавами. Однако это продолжалось недолго. Начиная с 50-х годов еврейское государство находится под непрерывающимся огнем Советов. Сохранится ли эта враждебность к концу века?

Арабы стремятся к уничтожению Израиля из национальных соображений. Но является ли уничтожение Израиля стратегической целью Советского Союза?

Нам представляется это маловероятным, если принять во внимание геополитические интересы Советского Союза и

прежде всего интерес к сохранению детанта с Америкой. Сомнительно, чтобы русские отказались от детанта /пусть даже в своем, советском понимании/ из-за стремления арабов стереть Израиль в порошок.

Американо-советское равновесие на Ближнем Востоке не достигнуто, и вряд ли будет достигнуто в обозримом будущем. Но и военного вмешательства не произойдет, пока не вспыхнет третья мировая война. А до тех пор будет действовать подвижное, неустойчивое равновесие как между сверхдержавами, так и между Израилем и арабским миром. Это равновесие не обретет устойчивости, даже если Израиль вынужден будет отказаться от завоеванных территорий. Установление израильско-арабского мира — длительный процесс и вряд ли он завершится даже спустя 20 лет.

Будет ли это неустойчивое равновесие прервано еще одной арабо-израильской войной? Это зависит от многих привходящих факторов, и вряд ли возможен здесь однозначный ответ. Отказ Египта от войны делает ее маловероятной, но провокативно-безрассудные акты /и со стороны арабов, и со стороны Израиля/ могут повысить ее шансы. Одно можно сказать: и эта война, как и все предыдущие, останется безрезультатной. Впрочем, как ни странно это звучит, война, если она разразится, приблизит мир.

Есть еще один вариант развития, который должен быть рассмотрен: атомная война. Много разговоров ведется вокруг исламской атомной бомбы, не то пакистанской, не то иракской. Вокруг последней, после того как израильская авиация разбомбила иракский атомный реактор, эти разговоры поутихли. Так вот, нависла ли угроза атомной войны над Ближним Востоком? Малая территория Израиля делает сомнительной возможность ответного удара, но в этом случае он будет стоять перед необходимостью превентивной войны. Можно полагать, что угроза применения превентивной бомбы создает и на Ближнем Востоке "равновесие страха".

Есть еще одно обстоятельство, которое надо принять во внимание: великие державы мирятся с локальными войнами,

но они не допустят, чтобы местные конфликты переросли в мировую войну. Так что, если и вспыхнет мировой пожар, то вряд ли по причинам локального порядка — таков закон века ядерного оружия.

## 6

Главный вопрос, стоящий перед Израилем: на кого работает время? Не будет ли Израиль задушен арабским демографическим и геополитическим превосходством? Совсем недавно этот вопрос был снова поставлен находившимся в течение многих лет на посту президента сионистской организации Н. Гольдманом, ратующим за нейтрализацию Израиля. "Дело заключается в том, — пишет он, — будет ли в далекой перспективе обеспечена большая безопасность Израиля в условиях его теперешней политической и военной изоляции /когда он опирается только на свою силу/ или его безопасность будет большей в рамках конкретных и формальных гарантий, предполагающих также размещение чужих /военных/ сил на границах с арабскими государствами. — Продолжая развивать свою аргументацию Н. Гольдман говорит: — По моему мнению, существует большая опасность в первом случае. Израиль не сможет в течение многих лет продолжать соревнование /в силу ограниченности финансовых и человеческих ресурсов/ с арабскими государствами, обладающими неограниченными финансовыми источниками и населением, насчитывающим десятки миллионов" /"Гаарец" 18.8.80/.

Несколько дней спустя состоялась беседа корреспондента газеты "Гаарец" с Моше Даяном, отвергающим концепцию Гольдмана: во-первых, предоставление гарантий не реально, а во-вторых, невозможно на них полагаться. Кроме того, формула Гольдмана предполагает отступление Израиля к границам 1967 года, а этого Даян не хочет. Он соглашается с тем, что Израиль не сможет продолжать гонку вооружений и поэтому должен сделать акцент на повышение боеспособности и качества оружия. Нейтрализация Израиля на ближайшие

20 лет выглядит не более чем иллюзия. Для этого должна быть достигнута полная гармония в отношениях между двумя сверхдержавами, а это маловероятно. Но такой же иллюзией является и исключительная ориентация на собственные силы. Израилю, конечно, нужен свой мощный военный потенциал, но на одной силе он далеко не уйдет, если не будет опираться на свое духовное и политическое превосходство.

Рано или поздно /во всяком случае, до конца века/ выяснится, что стратегическая цель, которую поставило перед собой еврейское государство после Шестидневной войны, — перекроить карту Ближнего Востока в интересах собственной безопасности — ему не под силу. Израиль не может навязать арабам свой мир, не будучи способным сломить их сопротивление. Каковы бы ни были политические пертурбации внутри страны, ему придется искать компромисса, который будет близок к границам 1967 года.

Израильско-арабский конфликт можно рассматривать как столкновение качества с количеством. До сих пор качество неизменно доказывало превосходство. Благодаря ему Израиль обеспечил себе место на Ближнем Востоке и в современном мире и, надо полагать, что до конца века он сохранит за собой преимущество. Образно выражаясь: народ инженеров окажется выше народа феллахов.

Но мир беспрерывно меняется, и для того, чтобы сохранить превосходство, еврейское государство должно быть на высоте этого изменяющегося мира. Не забудем, что это мир ядерной энергии, ракетного оружия и перманентной технологической революции. И, конечно, Израиль должен заботиться о качестве своего оружия, держать порох сухим.

Но есть два урока арабо-израильского конфликта, мимо которых нельзя пройти.

Первый урок — Израиль нуждается в помощи извне /Америка, Запад и мировое еврейство/, без которой ему не устоять, как это показала война Судного дня /1973 г./.

Второй урок, это огромная роль морального фактора. Израиль боролся за свое существование, и это удесят�ерло

его силы. Восстановить свой моральный потенциал Израиль может только одним путем: освободиться от ярма завоеванных территорий и сохранить таким образом свою внутреннюю цельность.

Значит ли это, что Израиль лишается плодов своей победы, ибо войну 1967 года он вел не в целях завоевания территорий, а исключительно отстаивая право на свое существование. Израиль не только отстоял свободу, но и добился того, что сегодня весь мир, включая Советский Союз и арабские государства, признает границы 1967 года, как суверенные границы еврейского государства.

## 7

Оба народа, евреи и арабы, шествуют в неизвестность, и оба народа верят, что история работает на них: арабы рассчитывают на свое демографическое и геополитическое превосходство, евреи — на свое качество.

Действительно, сила Израиля в его качестве. Без него он, как уже говорилось, неизбежно превратится в провинциальное левантийское государство, следы которого затеряются в лабиринте мировой истории.

В современном Израиле происходит острая борьба двух тенденций: с одной стороны, тенденция в сторону общества изобилия — служение золотому тельцу, бегство от труда, падение нравов, преступность. Другая тенденция — тяга молодежи к науке, к знанию, высокая эффективность труда в кибуцах и других трудовых поселениях, заметные достижения в научном и технологическом развитии, высокая мораль армии.

Какая же из этих тенденций победит? Мне кажется, что духовный и интеллектуальный потенциал еврейского народа не может не проявиться.

К концу века Израиль станет государством с четырехмиллионным /или даже более того/ населением, что явится достаточной демографической базой для развития передовой

культуры и технологии.

Не надо думать, что это слишком оптимистический прогноз. Еврейскому государству вряд ли удастся к концу века решить самую острую внутреннюю проблему — проблему "черного Израиля". Для этого потребуются, по-видимому, не одно поколение. Израилю не удастся и к концу века познать вкус изобилия и прочного гарантированного мира. И это дело одного-двух поколений. Также обстоит и с зависимостью от американской помощи, которая еще долго будет печальной необходимостью.

Но Израиль, вставший из пепла, не будет сожжен. Свое существование он отстоит. Сами арабы убедились в том, что они не в силах опрокинуть еврейское государство. Этим оно обязано прежде всего самому себе, той жизненной силе, которая заложена в еврейском народе. Но своим существованием Израиль обязан и той помощи, которую он получил извне. Пока одна из двух ведущих мировых держав заинтересована в существовании еврейского государства, имеющего для них стратегическое значение, никому не удастся сломить его.

Израиль не только государство с трехмиллионным населением. Это также государство, открытое для евреев всего мира. За Израилем стоит весь рассеянный по всему миру еврейский народ, и это также нельзя сбрасывать со счетов.

К 2000-му году "столетняя война" между арабами и евреями наверняка начнет выдыхаться, а карта Ближнего Востока будет перекроена, но не в том смысле, в каком этого хотелось бы Израилю. Раздел Палестины не будет перечеркнут, как не могут быть "перечеркнуты" оба народа — евреи и арабы, — претендующие на эту страну. Государство палестинских арабов займет свое место на Ближнем Востоке совместно с Иорданией или самостоятельно, вне ее. Не исключен и другой вариант: государство палестинских арабов поглотит Иорданию, в которой большинство населения составляют палестинцы.



В заключение нам хотелось бы бросить ретроспективный взгляд на диалектику арабско-еврейской борьбы за Палестину.

Сионизм, еврейская иммиграция в страну праотцев, изменили лицо Ближнего Востока, были одним из важнейших факторов пробуждения его от вековой спячки, его форсированного развития. И не кто другой, как сионизм, должен был расплачиваться по этому счету.

Но это только одна сторона дела. Другая заключается в том, что мощное арабское давление заставляло еврейский народ непрерывно повышать коэффициент своей сопротивляемости. Таким образом вырабатывалась сила из слабости. По этому счету платили арабы.

Удастся ли сбалансировать эти два противоречивых процесса — от этого зависит будущее и государства Израиль и всего Ближнего Востока.

***ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ  
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ***

**НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО  
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ**

**Подписная цена на 1 год 70 долларов  
Воскресное издание только 35 долларов**

**Воздушной почтой ежедневное и воскресное  
издание 180 долларов.**

**Чеки выписывать на имя:  
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"  
и направлять по адресу:  
461 WEST 8 STREET  
NEW YORK, N. Y. 10001, USA**

***В Новом Русском Слове сотрудничают  
лучшие литературные силы эмиграции.  
Газета имеет собственных корреспондентов  
в Иерусалиме и Тель-Авиве.***



Петр ВАЙЛЬ  
Александр ГЕНИС

## РАЗГРОМ

*История эмиграции писателя Аксенова,  
автора романа "Ожог"*

1

Главным героем одного десятилетия был в России Хемингуэй. Его открыло — для себя — поколение "шестидесятников" в 1959 году, когда вышел в свет двухтомник переводов. Хемингуэй почти сразу перестал быть хорошим писателем, а стал кумиром и портретом. Примерно тогда же произошло другое важное событие — выставка импрессионистов в Москве. Хемингуэй и импрессионисты стали ключом для того радостного и светлого периода российской культуры, который всем казался ренессансом.

Хемингуэй был гениальным чучельником. Он писал "настоящее море, настоящего старика, настоящую рыбу". Его искусство заключалось в похожести. "Похожесть" — это искусство момента, а не вечности. Это проблема субъекта, а не объекта. Хрусталика глаза, а не зеркала.

Цветные пятна и точки импрессионистов делали пейзаж неотличимым от природы. Лессированные мазки Клода Лоррена сейчас никому не кажутся настоящим деревом. Искусство усовершенствовалось до понимания эффекта истинного подобия, до учета относительности зрения. Когда эпохальное открытие достигло России, дерзновенное новаторство стало техническим приемом. Эстетическим муштабелем. Хемингуэй и импрессионисты доказали, что прямое слово — "я тебя люблю" — есть ложь в обиходе человеческом. Умолчание же — истина.

Ирония /обычно само-/ научила выражаться обиняком. Иносказание стало знаком правды. Грубые мазки и пятна слились в портрет. Бунт реализма против классицизма превратился в успешную революцию. Теперь мысль надо было не высказать, а изобразить. Торжество "непрямого слова", мужественное умолчание, скупая слеза, грубый свитер — примерно так выглядели эстетические категории ранних шестидесятых.

Ю. Лотман писал о том, что увлечение театром французского классицизма в начале XIX века привело к образованию первых декабристских кружков /во всяком случае, театральный пафос республиканского Брута, а не идеалы недавней французской революции служили идеологической основой ранних декабристов/. Взаимосвязь литературы и общества в России всегда мыслилась как отношения узурпаторски-подчинительные. Имена писателей всегда заменяли имена политических деятелей: "век Пушкина", "Толстой — некоронованный царь России", "со времен Солженицына"... И никого не удивляет, что "Оттепель" — название романа, а не историческая категория.

Плеяда "Юности" — Аксенов, Гладилин, Балтер, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский — за несколько лет изменили общественный климат, коммунальный быт и ввели обращение "старик". Еще все носили штаны с удобной мотней, а молодые прозаики и поэты звали к будущему алюминиевому царству, где все будут носить брюки-дудочки. Литература опять шагала впереди жизни и звала в свое пре-

красное далеко. Мир, который открывался на страницах "Юности", был милым и героическим. Герои — талантливые и симпатичные — боролись с недостатками — бездарными и нехорошими. Недостатки были социальные и опасные: пьяный хулиган, подлец, оскорбивший девушку, начальник, запретивший твист. За все литературные недостатки молодежной литературы расплачивался Хемингуэй, /вопреки общепринятому "Пушкин заплатит"/.

Прошло несколько лет. Замутилась шахматная простота пьяных хулиганов и спортивных физиков. Выяснилось, что /в отличие от Хемингуэя/ в жизни не всегда есть место подвигу. Спасительная ирония подтекста, скрывающая сентиментальную слезу автора, перестала работать, Разные судебные процессы и танки развеяли последние иллюзии справедливой войны с нехорошими начальниками при помощи кулаков и туристских песен. И тут поколение писателей, отпочковавшееся от мужественной романтики американской прозы, прочло Булгакова.

"Мастер и Маргарита" — это было эпохальным открытием. Наивная проза шестидесятых искренне полагала, что спасение человека — дело его рук. Вся она была построена на поступке, конкретном действии, которое раньше или позже принесет положительный результат. Вот есть в аксеновских "Коллегах" врач Саша Зеленин, так он — герой. И никакая авторская ирония не скроет от нас его готовящегося подвига. Тут не столько традиционная, социалистического реализма, тяга к буревестнику, сколько искренняя вера в возможность перемен. Время было такое, даже Сталина сняли. "Мастер и Маргарита" оказалась первой книгой, для которой действительность была насквозь пронизана ирреальным метафизическим представлением. Новое поколение атеистов с христианством знакомились по истории Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри.

Для журнала "Юность" общество было разумно организованной системой. То, что в обществе что-то получалось не так, объяснялось перебоями налаженной машины. Общество в "Мастере и Маргарите" есть хаос, лишенный даже мечты о

гармонии. Страх — единственная организующая его сила. Даже всемогущество дьявола не может справиться с чудовищной энтропией социальной силы. Попробуйте-ка стрелять в подушку. В булгаковской Москве нет места поступку, Данко здесь делать нечего. Да и Богу здесь делать нечего — понять Он может, а простить вряд ли. Конечно, Воланд в силах наказать буфетчицу за несвежие закуски, а ведьма — перебить стекла палачу Чепцову, но помочь Мастеру уже не может никто.

По Хемингуэю сильные люди погибают, но побеждают. По Булгакову сильных людей не может быть вообще. Они погибают до начала сражения.

Само появление "Мастера и Маргариты" свело на нет кумиров "Юности". Их народный опереточный мир торжествующей морали был уничтожен глобальным пессимизмом Булгакова.

Аксенов — основатель и главный представитель оптимистического хемингуэевского направления — глубоко воспринял булгаковский переворот. "Ожог" — эта главная аксеновская вещь — воссоздает уже модель мира, исходя из метафизической предпосылки неизбежного зла. По всему роману раскиданы знаки поэтики "Мастера и Маргариты" — все эти оценочные иронические суффиксы и словечки в речи нейтрального повествователя /"подлейшие трусики" и пр./, свободное обращение с пространством и временем, система двойников, шаржированный портрет-зарисовка, активное включение фантастического в событийную ткань. /По сути, Аксенов всегда тяготел к такой литературе: "Рандеву" "Поиски жанра", "Цапля", "Четыре темперамента". Но именно в "Ожоге" — как бы итоге двух десятков лет Аксенова в литературе — он уверенно и круто замешал метафизику и словесность в нужной пропорции./

Творчество как главная сущность метафизической системы равнозначно определяет иерархию ценностей обоих произведений. Правда, у Булгакова еще была последняя гордая вера: "Не просите, сами дадут" — последнее убежище мировой справедливости. У Аксенова не осталось и этого. Ведь

Булгаков не пережил крушения всех надежд — их у него никогда и не было. А Аксенов с надежд начинал.

## 2

"Все вы — потерянное поколение", — сказала Гертруда Стайн в разговоре с Василием Аксеновым. Аксенов согласился, потому что давно подозревал это. Еще в 1961 году в гневно-юмористическом журнале "Крокодил" появилась карикатура. Длинноволосый юнец с повестью "Звездный билет" под мышкой беседовал с длиноволосым неандертальцем из фильма "Человек ниоткуда": "Вы откуда? — Ниоткуда. А вы куда? — Никуда".

Так уже два десятилетия назад был точно определен конечный пункт движения аксеновских героев. Они, словно по дурацкому приказанию Бабы-Яги, разбрелись "не знаю куда" в погоне за "не знаю что": апельсинами из Марокко, затоваренной бочкотарой, розовым айсбергом, ошипанной цаплей... Когда стало ясно, что ничего путного им не найти, Аксенов собрал всех героев вместе и начал писать для них исторический роман.

Роман обозначен подзаголовком: "Поздние Шестидесятые — ранние Семидесятые". Поздние Шестидесятые начались с 1968 года, а до того были незабвенные полтора десятка лет, отмеченные, с одной стороны — танками в Будапеште, а с другой — танками в Праге. В эти годы — между танками — поместилась вся либеральная общественная мысль послевоенной Советской России. С августа 68-го началось умирание.

Ранние Семидесятые закончились в начале 74-го — когда не стало ни "Нового мира", ни той "Юности", ни русского Нобеля. Когда каждый месяц три тысячи человек уезжали из страны, чтобы уже не вернуться. И вместе с учителями музыки, врачами, продавцами скобяных изделий стали паковать чемоданы писатели, художники, композиторы, музыканты, физики и математики. Именно тогда — в 73—74-м — начался исход талантов и мозгов из России.

Так оказалась права Гертруда Стайн: поколение потерялось. Так Василий Аксенов встал перед необходимостью создать историческое полотно краха и исхода. Потому что имен-

но он, Аксенов, наверное, точнее, чем любой другой российский интеллигент, своей жизнью и своим творчеством создал модель российского интеллигента. Почти с полным совпадением аксеновские художественные опыты соответствовали последовательно прозрению конца 50-х, надеждам начала 60-х, сомнениям конца 60-х и отчаянию начала 70-х.

Василий Аксенов как зеркало русского либерализма. Может, доживем до поры, когда какой-нибудь выпускник Казанского университета напишет такой труд.

Новая задача требовала нового способа воплощения, и Аксенов подался в исторические романисты, встав теперь в один ряд с такими авторами, как М. Н. Загоскин, Д. Л. Мордовцев, Л. Н. Толстой, А. К. Толстой, А. Н. Толстой, Е. А. Салиас-де-Турнемир и другие. Традиция исторического романа довольно богата в России, однако последние годы не давали пищи для историко-художественных обобщений: слишком стремительна и фрагментарна была жизнь. А главное — произошли глубокие и принципиальные изменения в самой ткани литературы, классические формы и методы перестали быть адекватными новым формам жизни. Возникли удивительные литературные эксперименты: Венедикт Ерофеев, Василий Аксенов, Саша Соколов, Александр Зиновьев, Юрий Мамлеев...

Даже такой недавний памятник, как "Доктор Живаго" — последний роман-эпопея классической русской литературы, а не первый роман современной словесности. Поэтика же аксеновского "Ожога" — абсолютно современна. Более того: сам Аксенов — один из ее создателей. А потому рискнем назвать "Ожог" первым романом-эпопеей советской эпохи /ибо "Тихий Дон", например, может быть отнесен к советской эпохе в плане историческом, но не литературном, так как уходит корнями в XIX век/.

## 3

Отчество и отечество — это общее у главных героев романа, которые, как быстро выясняется, суть один герой, разветвленный на многие виды деятельности.

Аристарх Аполлинариевич Куницер — физик.  
 Геннадий Аполлинариевич Малькольмов — врач.  
 Пантелей Аполлинариевич Пантелей — писатель.  
 Радий Аполлинариевич Хвастыщев — скульптор.  
 Самсон Аполлинариевич Саблер — саксофонист.

Шляясь по Москве, выпивая, ведя умные разговоры, потихоньку протестуя, барахтаясь в постели с красавицами, герой не ищет, как казалось бы естественным, объективную истину. И читатель этой объективной исторической истины не получает. Аксеновский Аполлинариевич не похож на нормального героя исторического романа, несущего определенную /позитивную или негативную/ идею. Князь Серебряный осуждает реакционное явление опричнины, Айвенго борется с феодальной раздробленностью, Юрий Милославский рубает полячишек. А герой "Ожога" возится с мухой-дрозофилой, дует в сакс, лепит уродов. Однако же — проходит вполне очерченный путь гражданского самосознания: от функционара-оптимиста — к реформатору и верующему идеалисту. Просто у него методы постижения мира другие.

Какова бы ни была сфера приложения сил героя /от физики до джаза/, он — прежде всего, творец. И высший акт познания и самосознания для него — есть проникновение в собственную суть в момент творческого экстаза. Вместо объективной истины герой ищет монолитного постоянства в отношении к миру и к себе.

А уже в качестве осознавших себя индивидуалистов-творцов герои книги неизбежно конфликтуют с обществом, никогда не любившим выскочек и зазнаек.

Многообразность главного героя потребовала от автора особой литературной изощренности, с чем он справился с легкостью, свойственной его размахистому и яркому таланту. Сюжетным стержнем романа стало доказательство тождественности всех Аполлинариевичей одной обобщенной личности творца. И начались повторы, параллелизмы, аллюзии... Автор настойчиво с первых же страниц втолковывает, что Аполлинариевичи — это Аполлинариевич. В пяти последовательных главах с одинаковым названием "ABCDE" одинаково "меж-

ду рубашкой и джинсами поблескивает потрясающий Машкин живот", и "появляются жирафыи ноги в стоптанных туфлях хаш-папис", и "машина катит прямо на бетонную подпорку гостиницы "Минск"... И все это — чтобы не упустить: все герои — один герой.

И уже где-то в середине книги появляется родоначальник всех пятерых московских знаменитостей — мальчик Толя фон Штейнбок, сын ссыльной и по сути ссыльный сам. Толя фон Штейнбок, наконец, приводит всех героев к общему знаменателю, возникая в детских видениях каждого из них. Аполлинариевичи окончательно сливаются в единый образ: трагический образ творческой совести поколения.

"Все вы — потерянное поколение", — сказала Гертруда Стайн в разговоре с Василием Аксеновым. И Аксенов согласился, потому что уже знал это, и понял на своем опыте, и на опыте своих героев, которых провел от безмятежных "Коллег" до нестерпимого "Ожога". И поняв, ушел туда же, куда стали уходить те, кто пережил отрезок российской истории от Будапешта до Праги и ранние Семидесятые. Правда, сам он ушел только в 80-м, но ведь знать и понимать это одно, а поди попробуй...

## 4

Как и полагается литературному герою, герой "Ожога" вращается в определенной среде, сталкивается с представителями разных слоев общества. Поскольку распятеренный творец из "Ожога" — столичная штучка, то и публика вокруг него не без изящества. Но с другой стороны, он — демократ и не чурается простого народа. Так формируются три основных направления социальной жизни героя: "Герой и власть", "Герой и элита", "Герой и народ".

Герой и власть. Проблема конформизма. Александр Зиновьев в "Зияющих высотах" изобразил занятую схему. Группа высокопоставленных холуев лижет высокопосаженную задницу. Их молодые и прогрессивные коллеги разоблачают старших товарищей, справедливо упрекая в невежестве и карьеризме. Старшие отбиваются. Наконец, мо-

лодые побеждают и, пробившись к самой заднице, принимаются лизать ее более квалифицированно.

Есть такой тяжелый российский комплекс: соответствие занимаемой другими должности. Тысяча лет без демократии — появится... "С кем вы, мастера культуры?" — спрашивает некий голос, густо окая, придыхая на "г" и ударяя на слове "скорости". И мастера культуры поставленным бархатным баритоном отвечают: "С вами, кормильцы, с вами, родимые!"

Такова в общих чертах схема отношений "поэт и царь".

Ощущение правильности действий властей не покидает и аксеновских творцов — бунтарей, между прочим, по своей творческой сути. А потому что власть своя, хоть и гнусна, но для всех. А прочее — от лукавого. Поколения с восторгом повторяют байку про русского мальчика, которому дай впервые в жизни карту звездного неба — он наутро вернет ее исправленной. А ведь и мальчик этот, и какой-нибудь кузнец Вакула, который черта называет "немец проклятый", и есть оплот жуткого российского мракобесия, для которого важно, чтобы было "свое", а верно ли это, хорошо ли, справедливо?.. Кто-то уже подметил, что Левша нос-то утер англичанам, подковав пляшущую блоху, но блоха-то плясать после этого перестала... Однако и атаман Платов, и сам государь были довольны.

И вот оплот прогресса писатель Пантелей попадал в коридоры власти и "проникался неким благостным колыханием сопричастности и душевного комфорта". Правда, "не без труда он напоминал себе о ложности этого чувства..." Но ведь — "не без труда", и ведь это — Пантелей, знамя новой свободы.

Во все времена у всех народов были люди, всегда находящиеся в большинстве, которые хотели быть похожими друг на друга, а больше всего — на начальство. Выгоды такого существования очевидны, и говорить не стоит. Но человечество на каком-то этапе своего развития изобрело личность. И слово "конформист" стало ругательным. Но ничуть не изменив своей притягательной сути. Мало ли чего стесняется человек.

Хорошо зарабатывающий ассенизатор никогда от своего ремесла не откажется, но в обществе предпочитает числиться шофером такси.

Знаменитая хрущевская расправа с "пидарасами и абстрактивистами". На трибуне — гнида, писатель Пантелей. Уничтоженный, распластаный Пантелей просит разрешения спеть и в жутком молчании зала тянет "Песню варяжского гостя". Неожиданно смягчившийся Глава по-доброму спрашивает: "С кем хотите петь, Пантелей?" — "С моим народом, с партией, с вами, Кукита Кусеевич!" — захлебывается декабрист Пантелей.

"В милицию, в нашу советскую милицию!" — вопят интеллигенты. — "Не выгонят же!" Не выгонят же!..

И грустный автор пишет о мятеже в вытрезвителе: "...Никогда и нигде... не был я свидетелем... массовой вспышки непокорства, взлета человеческого достоинства и гнева." Господи, да о чем же это? А вот: "Садитесь на пол, мужики! Выразим голыми жопами наш протест против унижительных надругательств..."

И дело не в том, как утверждает западный аналог аксеновского героя Патрик Генри Тандерджет, что "рабство — это доведенная до экстаза свобода". В этом хоть полет какой-то есть, отрицательное обаяние. В противостоянии /если это противостояние/ "герой-интеллигент — власть" все проще, серее, страшнее. "Мы не вольны в своих поступках, мы не личности, не боги и не гиганты, просто Москва прокручивает нас в своей мясорубке, как хочет".

Герой и элита. Проблема предательства. Герой-творец романа "Ожог" сам принадлежит к элите: всюду принят, известен, любим или ненавидим. Но все это — инерция, инерция Шестидесятых, из которых герой зачем-то прихватил ненужные мечты, обесцененные идеалы. И он смешон, потому что "болтает все то же, что и раньше", когда болтать уже все перестали. Вот раньше — тогда-то болтали все. И потому писателя Пантелея всерьез не принимает даже заискивающий перед ним почетный милиционер Москвы, сын автора гимна Советского Союза.

Живым анахронизмом бродит Пантелей по святым местам московских интеллектуалов, тщась одновременно сохранить "облеваннные мечты, которые еще можно отмыть" и сознание того, что надо "просто встать из-за стола и рвануть дверь и спросить с простым гневом: куда вы нас тащите?" И героя, как восточного шейха, ничто не веселит: ни звездный гул псевдотворческих разговоров, ни зарубежные цацки — знаки принадлежности к псевдосвободному сословию, ни утонченные во всем бабы, ни пьянь с красивыми этикетками, ни — даже! уже! — обязательная составная интеллектуального комплекса: регулярное покаяние.

А ранние Семидесятые несут непривычный, отталкивающий и притягательный душок свободы. Не той, забрезжившей в пределах государственных границ, как в Шестидесятые, а личной — для себя — свободы. Оказалось, что можно-таки рвануть дверь и выйти из поезда дураков.

В конце концов, испробовав все, так и поступил писатель Пантелей Аполлинариевич Аксенов.

А там, в Москве, герой метался, подавленный — и даже не тем, что сместились критерии, что теперь "маленькие пошли в ход", что не талант нужен, не талант. Страшнее этого было предательство поколения. Последний могиканин генерации Пантелей отчаянно цеплялся за своего бывшего друга и соратника Вадима Серебряникова, с которым столько было вместе и столько, кажется, можно было бы еще. И на какой-то миг кажется, что это так — слишком много связывает писателей: общее прошлое, один язык, полузабытая ироническая интонация, понимание творчества как мгновенного спонтанного акта забывтья. Но Вадим уже сделал несколько прогрессивных шагов по направлению "герой и власть", а Пантелей все валяет дурака, пока не осознает: все забыто! Да ведь и он — тоже стал подзабывать. И на нем — предательство идеалов поколения. А как говорил Маленький Принц, мы в ответе за тех, кого приручили.

Герой и народ. Проблема выживания. Аксенова, как и многих его предшественников в русской литературе, прельщала возможность создать энциклопедию русской

жизни. И потому в книге появился народ, который, как и в "Евгении Онегине", вопреки утверждению Белинского и компании, особого значения не имеет. Там пейзажи занимались не прямым своим делом, торжествуя на дровнях и разрезая коньками лед. Здесь они тоже не поднимают зяби и не склоняются к станку, а день-деньской торчат в "Мужском клубе" — у пивнухи. Здесь все насущные проблемы современности обсуждаются с большей страстностью, чем в ЦДЛ, а главное — проблемы не вуалируются интеллигентскими замашками: эрудицией, изяществом выражений. "Мужской клуб" проходит пародийным аналогом московской элиты.

Национальный вопрос разрешается здесь с присущей русскому человеку двойственностью.

"У меня картошка, как козий горох, а у латыша-суки — как бычья мотня!", "карел на печке с бабой лежит, а русский Иван в лесу горбатит!", "пиво понесли — жидам в холодильнике!" Короче, "русского" человека все в жопу харят кому не лень!"

А с другой стороны: "Я всю Индию без оружия пройду, всех голыми руками передую!", "весь мир кормим!", "Абрамчику маца! Натанчику маца! Рувимчику маца! Ванюшеньке-душеньке — кусочек холодца!"

Чуть подернуть интеллектуальным флером — и нацвопрос на самом высшем уровне.

И кодекс дружбы: "Где это видано, чтоб в беде товарищей оставляли! Да лучше пристрелить обоих!"

И основополагающие принципы, твердо сформулированные у пивной бывшим героем ледовых баталий форвардом Аликом Неярким: "Когда меня спрашивают, кто твой любимый писатель, я отвечаю — Жизнь! Когда меня спрашивают, что я ненавижу, я отвечаю — войну, лицемерие, капитулянтство!"

Какая пивная! Это же трибуна писательского съезда — форум инженеров человеческих душ.

Так пародийным двойником ЦДЛ живет "Мужской клуб", указывая гнилым интеллигентам на единственный способ выживания в стране, победившей социализм: стать народным

в том единственном смысле слова, который предполагает подлинное соответствие занимаемой другими должности, быть слугами народа, на каком бы иерархическом уровне он, народ, ни находился. Потому что на самом деле власть народна всегда, иначе не смогла бы удержаться у власти.

Отождествить себя с народом — и сойти к нему в подворотню, и принять его кодекс поведения и морали, и отмежеваться от еврея, "секретнейшего по шахматам тренера коренного населения". И только тогда — выжить. Пусть и понимая пародийность такого бытия. А кстати — кто на кого пародия?..

Попавший на сходку инакомыслящих физик Куницер спонтанно находит единственный способ противостояния — совершенно неожиданно для себя. Когда агенты уведят кое-кого из лидеров и что-то говорят ему, Куницер внезапно запальчиво, глупо, по-мальчишески кричит: "Идите в жопу!" Это смешно и стыдно, это понимают и гебисты, и диссиденты, и сам опозорившийся Куницер. Но уже скоро он поймет, что это единственный выход — только так можно избежать включения в систему: не принимать их условий игры и просто послать их в задницу. А поскольку они сильные и не пойдут туда, то пойти самому. Сбежать.

Можно устраивать с палачом взаимный стриптиз, можно биться головой о стенку с воплями "Я свой, я такой же" — ожог, осеняющий творцов, горит невыводимым клеймом. И толпа кричит: "Распни его!"

Кто убивает жертву — палач? Да нет, вина убивает, осознание вины — что не такой, что нельзя быть тем шотландцем, который один шагал в ногу. Чьей больше вины в насилии — палача или жертвы? А кто его знает, когда они так похожи. И в наших силах только не принять это, то есть стать-таки тем самым шотландцем. А кому такое понравится? И за десять страниц до конца романа Аксенов приходит: "Правый или неправый — кто знает? Быть может, они правы, жулики, лицемеры, держиморды? Все-таки, вот они их аргументы — сушки, печенье, масло в сельпо, хоть и дрянь, хоть и обман, но все-таки лучше, чем ничего..."

А что взамен? Химера совести против комфорта конформизма? "А где же наша-то правда, дорогой полужид?" Нету правды, как нет пророка в своем отечестве.

## 5

Окном, которое прорубил Петр в Европу, пользовалось удивительно мало писателей. Ну Карамзин попутешествовал, ну Головина взяли в плен японцы, ну Пушкин вошел в Арзрум на коне, ну Гоголь игнорировал Италию, ну Достоевский проигрался в Германии. А в нашу эпоху разве что Эренбург, да и то он скорее влез в окно с другой стороны. От всего этого покрылось окно матовой краской, как в бане — свет доходит, но очертания мутны. Отсюда и произошла легенда про туманный Запад, лживый Запад. Мир за забором покрылся очаровательной паутиной воображения, надежды и сладкого ужаса.

Аксенов с треском прорвался в Запад. Он прыгнул в окно и населил собой прекрасную Европу и добродушную Америку. Он — для русского человека вещь небывалая — даже выучил их язык. А потом, когда вернулся, привез с собой в русскую литературу джинсы "Ли", виски "Белая лошадь" и очки темные "Полярюид". Для аксеновских героев Запад — не таинственная приманка, а будничная действительность. Вот посудите сами, что пьют в "Ожоге": "Здесь были и "Гордон джин", и "Чинзано драй", и "Королева Анна", "Арманьяк", "Мумм", "Кампари"... И только на 389-й странице романа появляется пахнущая молоком и дымом отечества бутылка с тетеревом — "Охотничья". Символический этот путь пародийно сопровождает героев в их разочаровании политикой мирного сосуществования "Кента" с "Беломором".

Аксенов всю свою жизнь старался сделать окно в мир пошире. С первым хемингуэевским дуновением он рвался влиться в семью народов — членов ООН и ЮНЕСКО. Запад никогда не был его мечтой, его врагом, его завистью, его запретным плодом. Аксенов просто поднялся до уровня понимания человечества без государственных границ.



Он двадцать лет искал выхода. Как совместить любовь с ненавистью. Вокруг него редели ряды "Коллег" и "Апельсинов из Марокко". Все преступнее становилась его родина, и все преступнее становилось оставаться в ней. Как бы ни изощрялись гуманисты-интеллектуалы — все шло на пользу мраморному чудищу. И все явственнее проглядывала в будущем юношеская химера человечества без границ. Желудок удава — граница кролика. Тщетно последний аксеновский герой, переживший пятерых своих предшественников, пытается капитулировать перед своей ужасной родиной. Ведь капитуляция — это отказ от ответственности, а кролик — даже проглоченный — должен своим весом увеличивать ударную мощь удава.

И тогда герой готов умереть, но он больше всего боится, что на его могиле напишут слова А. С. Хомякова: "История призывает Россию стать впереди всемирного просвещения; каждое право, данное историей народу, есть обязанность, налагаемая на каждого из его членов".

И тогда герой "Ожога" бежит своей палаческой обязанностью. Бежит из "единственной нормальной страны" /как считает крестоносец-чекист Ян Штрудельмахер/. Он перестал верить, что можно жить в обществе и не отвечать за него.

Правда ему лучше всех известно, что бежать-то особенно некуда. Не зря в романе заграничным двойником в толстых штиблетах разгуливает американский Аксенов Патрик Тан-дерджет. Он знак другого мира, но знак этот ужасно похож на наш, из "Мужского клуба". Все у него как у людей: пьет, ругается, не любит стукачей из американского посольства и даже просит политического убежища в отделении милиции. Так и кажется, что западный профессор Тандерджет разорвет на груди рубаху и закричит: "Что я, не русский, что ли?"

Мир после Будапешта и Праги стал, действительно, меньше. Цапля-Европа сделалась куцей. Но делать нечего, ехать надо. Бежать из Святой Руси, из Третьего Рима, от надежды всего человечества.

Так и вывалился в петровское окно один из немногих, кто хотел из окна сделать двери. Вековой спор западников

со славянофилами разрешился с римской прямоотой: западники должны жить на Западе...

## 6

"Ожог" — роман прощания. Если зрелость — пора осознания своих возможностей, то Аксенов написал первый истинно зрелый роман. Во всех его книгах яркими мухоморами растут несбывшиеся надежды. Где любовь, где дружба, где честность, где трудолюбие, и всюду — радость творчества.

Много лет назад был в "Юности" аксеновский рассказ "Дикой". Там рязанский мужичок, что весь век носил из родной деревни не высунувший, придумал вечный двигатель. Из деревянных бочек сколотил, и ничего — вертится. Как, почему, кто его знает, но работает. Много лет Аксенов и сам нарушал втихаря второй закон термодинамики. Все ему казалось, что если очень любить и верить, то будет нелепая деревяшка крутиться, давать стране свет. В "Ожоге" надежд больше не осталось. Аксенов старательно и дотошно проверил все возможности. Его герои прошли всеми путями, стежками, дорожками. Для них места больше нет.

И тогда Аксенов прощается. Прощается со своими любимыми идеалами, которые кормили его щедрую музу в восхитительные дни раскованного реабилитанса, в сумерки оправившегося общества, в закатную эпоху арестов и танков, в полночную пору дешевых чемоданов. Вот они — ослепительно прекрасные, гордые и чистые, мужественные идеалы проходят по страницам "Ожога". Проходят мимо.

Первой в развевающихся белых одеждах шествует Свобода. Как любили ее аксеновские герои! Сколько мускульной и интеллектуальной энергии затратили на то, чтобы сбежать от унижительной несвободы мещанского образа жизни. Сколько дорогих сервантов порубили в капусту. Сколько километров, верст, миль проехали за туманами и запахом тайги. Добрая свобода-бочкотара, талантливая свободная птица-нырок, нежная освобожденная Цапля братских народов. Все они здесь. Хороним. Вход всем. Не посторонним. А вот белые одежды распахнулись, и взгляд легко узнал очертания бутыл-

ки "Горного дубняка". Автор с презрением неопита: о! "безумие фальшивой алкогольной свободы!" Как помогал стакан теплой перцовки избавиться от никому не нужной ответственности перед обществом, объединиться с родным народом, жить его заботами от открытия и до закрытия магазинов? За-а-шили бедную алкогольную свободу, врезали родимой торпеду убийцы в белых халатах.. И повлеклась она, уже смиренная, скукоженная, только для себя. Теперь она верит в джаз. Никого не трогаю, играю себе тихонько шумовую музыку, творю в келье. Но и этого не дают. Там тоже не дураки. Что они, "Чикаго-Прага" не срифмуют? А джаз, говорят, ваш называется — "Роковые проблемы Шестьдесят Восьмого".

Тут свобода еще уменьшилась в размерах, но неожиданно окрепла в формах. Вместо того, чтобы грустно принимать парад идеалов, автор уже не стоял, а "бежал вдоль разорванного и смятого пакета из-под молока, как раб вдоль основания пирамиды". На воценом тетраэдре — сверху вниз, как по-китайски — было написано: "Свобода — осознанная необходимость". Автор "споткнулся об обглоданное куриное горло и растянулся в вате с ржавыми менструальными пятнами. Здесь мужское достоинство отлетело от него, и он стал ждать удара, как дождевая лягушка". Последняя мысль была: "Где русскому человеку взять цепи?"

Аксенов с ужасом наблюдает, как рушатся все его многолетние честные мечты под руками отрезвевшего и изверившегося героя. Этот несчастный герой уже совсем один. Все бывшие с ним ипостаси поумирали. Блестящие независимые физики, художники слова, друзья, странные в ночи — все, все исчезли. Все, как мосты, сгорело. Остался один автор "Ожог" — позднее, да и ранее, именуемый автором. Он бродит по пепелищу своих молодых и прогрессивных надежд и невнятно повторяет что-то булгаковское. То ли "русскому человеку честь — лишнее бремя", то ли "голым профилем на ежа не сядешь".

Тут лишенный гражданских надежд и счастья автор обращается в последнюю инстанцию — он обращается к Богу.

Он всегда верил в незапятнанные ризы чистого духа. Бог было творчество. Чистое, никому не нужное и потому — божественное. Когда человек способен творить, еще не все потеряно. Раз Бог посещает келью творца, то есть еще счастье и надежда, но если творить нечем, если поруганные идеалы свободы и любви не владеют больше пером, то Бог — последняя необходимость.

Автор согласился поверить в Утешающего Бога. Но Бог Аксенова — добрый Бог. А в этом мире добром ничего не поправишь. Вот Бог ни во что и не вмешивается. Он даже не может научить автора прощать.

Самое страшное в этой книге — ужас одиночества. Ведь герой ее — общественный человек, всю жизнь делавший и деливший все с друзьями — на миру, где и смерть красна, за компанию, где и жид удавился. Он так хотел быть любимым и любить, творить и быть понятым. Но понятым он был, а не понятым.

И еще осталась у автора надежда, совсем уж последняя. Как мышь любит свою нору, любил свою родину. Милые рязанскому сердцу просторы, родное "по рублю!" Если нельзя отдать всего себя родному народу, то можно хоть пострадать вместе с ним. Разделить тяжелую годину. Подняться до чувства ответственности. Радостно и гневно звучит авторская инвектива-саморазоблачение: "А кто выпустил джинна из бутылки, кто оторвался от народа, кто заискивал перед народом, кто жирел на шее народа, кто пустил татар в города, пригласил на княженье варягов, пресмыкался перед Европой, отгораживался от Европы, безумно противоборствовал власти, покорно подчинялся тупым диктатурам? Все это делали мы — русская интеллигенция".

Автору даже приятно, что он так много успел наделать. И он, освобожденный от интеллигентских комплексов и иллюзий, рвется слиться со страдающим народом. Автор, наконец, вылезает из "Фольксвагена" и идет в сельпо. Здесь в очереди за сушками стоит простой народ России. В умиленном раскаянии автор думает: "Они им дали хоть сушки, а мы..." Напрасно он мучается. Ничего не возьмет "матерая

родина" из его "полужидовских" рук. И вообще не надо так беспокоиться. Народ жив не сушками едиными: есть и здесь, при сельпо, спецраспределитель с красными рыбами. Не так уж прост народ. Он поголовно перешел в палачи и жертвы не за вонючую сушку, а для хорошей жизни, чтоб было как в Болгарии. Уж что-то, а авторскую жертву они не примут. Не за то боролись.

Есть, правда, один старичок, все сидит с Книгой. Так он от лиха — чтоб не растоптали — ушел в землю. Теперь живет в недрах, к корням ближе. А здесь, наверху, народ не живет — гуляет. Только один не весел. Сидит у батареи парового отопления, собирает поданные бабами сушки. Может, этот — праведник, "хранитель тайны". Вид такой. Автор прислушался: "Ой, говорит, дяденька, больно, а я ей говорю — не бо-бо, не бо-бо, а мамаша пусть яичницу соображает, а то всех на гумно вытянем, где уже лежат наши враги, как резанные боровы". Так шамкает праведник-палач, "российский Гомер", и отец говорит автору: "Оставь его... Это очень жестокий человек. Когда-то он был в нашем отряде, но мы все ушли на фронт, а он остался здесь в ГПУ и тиранил население. Нет такого дома в нашем селе, где бы он не бесчинствовал. Пойдем, сын, плюнь на него, он в маразме".

И тут у измученного автора не остается больше идеалов, и приходит страшная, в ночи, мысль: "Достоин ли я родины? А достойна ли родина меня?"

Когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя родиной.

## 7

Всю жизнь Федора Михайловича Достоевского занимали две великие мысли. Первая — как достичь мировой гармонии. Вторая — как России добиться владычества над Босфором и Дарданеллами. Грубо говоря: если все человеческое счастье достигнуто, но при отсутствии проливов, то вроде и не нужно такого царства Божьего на земле.

Русская литература никогда и нигде не забывала, что она заменяет обществу конституцию и гражданские свободы.

Ни один из ее великих творцов не презирал политики. Этому, собственно говоря, она и обязана своей мировой славе. Франция, Германия, Англия породили великие государственные идеи и великие литературы. России великая литература заменила парламент. "Поэт в России больше, чем поэт". И это не прошло даром. Ведь эстетические категории по сути своей не могут выражать общественную мысль с той трезвостью, на которую способны антиномии философов и силлогизмы политиков. И декоративная прелесть исторических построений определила практическую ущербность российского социального строя. Сама идея коммунизма у народников или большевиков — в первую очередь, литературный вымысел. Максимализм требований всеобщего счастья любой ценой и немедленно — есть поэтическая гипербола, а не историческая закономерность. Даже теперь, наученные горьким опытом социалистического строительства, мы все же представляем себе светлое будущее в поэтическом ореоле /как писал один эмигрантский публицист, в новой России ложь будет считаться уголовным преступлением/.

России — этой гигантской сверхмощной империи — всегда был присущ комплекс исторической неполноценности. Знаменитый английский историк Арнольд Тойнби вообще считает этот комплекс основополагающим фактором в отношениях России и Запада. Европа, по его мнению, третировала своего отсталого восточного соседа, отказывая ему в равноправном участии в делах народов. Только огромным напряжением сил Россия отстаивала свое место среди цивилизованных стран. А ценой, заплаченной за звание мировой державы, стали — демократия, общественное мнение, чистое искусство.

Русская поэтическая мысль откликнулась красивой мессианской мечтой. Писатели — от Пушкина до Георгия Маркова — перепутали танки с идеей, а расширение территориальное — с расширением провиденциальным. Болезненный комплекс исключительности стал творческим источником величайшей в мире литературы и величайшей в мире тирании.

Аксеновский "Ожог" оказался крахом еще одной попытки

уйти в горную область чистого искусства. Как горячо, как страстно Аксенов желал не замечать социального строя, Гагарина и пятилеток! Сколько сил и таланта потратил писатель на то, чтобы взрастить в своих книгах идеал безотносительного творчества! Все пошло прахом. Разгром.

"Ожог" займет свое место рядом с обличительными художественными документами Солженицына, Войновича, Максимова, Зиновьева. Станет бельмом в глазу советского правительства. Скатится на неизбежный гражданский путь великой русской художественной литературы.

Аксенов написал трагическую эпопею исхода лишних людей России. Он трезво оглядел прошлое, настоящее и будущее своей родины. А оглядевшись, взял аршин мысли, и, не доверяя Тютчеву, встал в лагерь тех, кто может на своем знамени написать слова поэта Алешковского:

Пора, мой друг, ядрена мать,  
Умом Россию понимать!



ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Виктор НЕКРАСОВ

## ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

ВИКТОРУ НЕКРАСОВУ - 70 ЛЕТ

*Есть жанр, в котором я никогда не писал и, откровенно говоря, писать не умею. Жанр этот — юбилейная статья. Мне кажется, что надо выжать из себя что-то необыкновенно умное, необыкновенно глубокомысленное, но именно в эти минуты ничего подобного на ум не идет, а, наоборот, идет что-то совершенно легкомысленное, озорное и никак не юбилейное. Вот и на этот раз: шутка ли, Виктору Платоновичу Некрасову — 70 лет, а перед глазами совершенно молодой, со своей неизменно хохмаческой ухмылкой Вика Некрасов — сидим в маленьком нью-йоркском кафе, на 58 улице, пьем кофе с коньяком, конец мая, до юбилея меньше месяца... "Что же написать о тебе Вика?" — "Напиши, что Виктор Некрасов — великий писатель, один из самых замечательных, которых ты встречал в своей жизни. Я должен его учить, что писать о Некрасове..." Вика как всегда в своем репертуаре, но вот что я сейчас подумал: "А ведь он и впрямь один из самых удивительных людей, которых я встречал. Пройдя через окопы Сталинграда, осыпанный почестями, знаменитый советский писатель, он, в конце концов, все отдал за то, чтобы остаться честным, остаться самим собой".*

*Да и свобода, о которой сейчас так модно говорить, для него не просто некий прекрасный лозунг. Свобода для него сама суть жизни: свободно думать, свободно общаться, а главное, свободно бродить по нашей планете: Европа, Южная Америка, Япония, Австралия, Гаваи, Новая Зеландия... Пиши о том, что видишь, что вздумаеть, что Бог на душу положит... Нет, это не я говорю, это говорит Некрасов. И все те же озорные с особым подтекстом, не перестающие ухмыляться глаза /смотришь в них и думаешь, чего еще отчебучит.../. И невольно ловишь себя на мысли: "Ну кто скажет, что ему семьдесят лет!"*

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

\* \* \*

Не говорите мне он умер,  
Он живет!  
Пусть роза сорвана,  
Она еще цветет,  
Пусть жертвенник разбит,  
Огонь еще пылает,  
Пусть арфа сломана,  
Аккорд еще рыдает...

Часть 2

Да, Надсон! Тот самый. Голубые и розовые листочки в альбомах московских и петербургских девушек из интеллигентных семейств. Красивый, чахоточный еврейский юноша с печальными глазами. Властитель дум. Пал, оклеветанный молвой. В двадцать три года...

Кто его помнит?

Я снимаю с полки такой знакомый, в сером с тиснением переплете, томик. Листаю. Читаю. Что-то вспоминаю. Очень отдаленное.

Такой же томик стоял у нас в книжном шкафу. Рядом с Тютчевым и Фетом. Никого из них я не читал. Мне было скучно. Я не любил читать про любовь. И про жертвенники и арфы тоже. Пушкин и Лермонтов стояли на другой полке, — их я еще признавал. С Тургеневым, — полкой ниже, — совсем было плохо. Мы его "проходили", "Записки охотника". А мне нужны были не охотники, а траперы, не двустолки, а винчестеры...

Вот он тоже стоит. "И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений". И опять-таки в тех же "сойкинских" переплетках, красных с золотом.

Хорь и Калиныч... Касьян с Красивой мечи. Сажусь с ними вместе в саду, на лавочке, под сень чего-то, — нет, не эвкалипта, он тени не дает, — и пытаюсь с ними помириться. После первой ссоры, ну, не ссоры, просто взаимной антипатии, впервые за пятьдесят с чем-то лет, протянули друг другу руки.

И скамейка, и сад, и сам дом с Тургеневым, как далеки они от Орловской губернии. За тридевять земель. За моря-ми-океанами.

В этом доме все русское, — книги, иконы, котлеты, первое, что вижу, когда просыпаюсь, — Киевская София с Богданом на противоположной стенке. И хозяйка дома русская. В восемь утра стук в дверь. Вносится поднос с утренним кофе.

— Больше вам ничего не нужно?

— Нужно.

—Что?

— Ваше общество.

— О-о... Сейчас я подам Клему кофе, он еще бреется, и приду.

За окном видны березки, — по ним принято, почему-то, скучать, а они есть везде, даже здесь, где все наоборот. На перилах деревянной лесенки вьются настурции.

Пьем кофе. Говорим о чем-то русском. Если не о русском, то о чем-то, что русскому уступает.

Дни стоят прозрачные. Тихая, золотая осень, последние дни апреля. А в Париже, — я звонил туда, — весны все еще нет, холодина. Здесь теплынь, хотя апрель — осень, июнь — зима.

— Принести еще кофе?

— Принести.

— А может, я вам мешаю? Вечером вам выступать, а я тут...

— Так то вечером и в городе. А сейчас мы здесь, в Подмельбурнье, в Переделкино. Тут положено беседовать /чуть не сказал "трепаться", но при Нине Михайловне я пытаюсь

обходиться без этих аргю и сленгов, как здесь называется наш "треп"/.

Мы продолжаем пить кофе, пока не настает время кормить Клема.

Что вам больше всего понравилось в Японии? На Гавайях? В Австралии?

О Японии говорил. О Гавайях скажу. Об Австралии же...

В те далекие траперско-винчестерские годы все рисовалось так /будь то Ориноко или Замбези, Тимбукту или Бенарес, до Австралии почему-то мои Жюль Верны, Майн-Риды и Буссенары не добрались/ — пробковые шлемы, этот самый винчестер, выючные мулы, носильщики с тюками, джунгли. Опасность на каждом шагу. Аллигаторы, индейцы, кураре...

На смену Ориноко пришла река Св. Лаврентия, Клондайк, салуны, Смит и Вессоны такого-то калибра, золотой песок, тяжелые кулаки, риск, кровь.

/Никакого риска и крови, но сотни приехавших из Мельбурна туристов сидят на корточках возле ручья и что-то в тазиках промывают. Это Соверен Хилл, золотоискательский поселок возле Балларата — в середине прошлого века именно здесь обнаружено было золото, и Австралию охватила нормальная золотая лихорадка. Золота давно нет, но Соверен Хилл сохранили с милым ароматом тех лет./

С возрастом топот мустангов постепенно вытеснился мягко шуршащими по гравию шинами Роллс-Ройсов.

О, эти Роллс-Ройсы...

Сохранилось, но, упаси Бог, никому не показывается, некое произведение под названием "Так погибла Конкордия", — автору тогда было лет двадцать, не больше. Роллс-Ройсов, правда, нет, но есть шикарные каюты "пакетбота", у героя шелковые усики, а некий мсье Карро, аферист и жулик, живет на рю Сан-Лазар, и окна его комнаты выходят на маленькую площадь перед церковью Нотр-Дам-де-Лорет — Господи! ту самую, мимо которой я битых три года ходил, когда жил еще на рю Ла Брюер.

Произведение, слава Богу, не увидело света.

К чему я все это, к чему мягко шуршащие шинами Роллс-Ройсы, которых никогда в жизни не видел? /В Киеве был один единственный интуристовский "Линкольн" с борзой на радиаторе, мы им гордились не меньше, чем магазином известной шарикоподшипниковой фирмы SKF на Николаевской и первыми автобусами "Даймлер-Мерседес" с невиданными до той поры складывающимися дверцами/. Всю эту артподготовку я провел, чтобы ответить на самый что ни на есть банальный вопрос — что меня больше всего поразило в Австралии? Фауна, флора, музеи, аборигены?

На всех дорогах есть знаки с изображением кенгуру, — мол, может выскочить из кустов, остерегайтесь. Я каждый раз вытаскивал фотоаппарат, но встретился с этим забавным и приветливым животным в обыкновенном зоопарке, хотя и называется он Национальным парком. Милую, трогательно-задумчивую, несуетливо жующую зеленый листок коалу тоже взял из рук зоопарковского сторожа.

Нет, не они пронзили мое сердце.

И не аборигены, живущие где-то на севере, — белые австралийцы всегда слегка смущаются, когда о них заходит речь, — увиденные же мною вылезали из лимузина, который не снился и самому Евтушенко или Олегу Попову.

И не заманчивый с детства Южный Крест, оказавшийся жалкими пятью звездочками, сразу и не увидишь, пока тебе не растолкуют, — вот от той яркой звездочки налево, видите?

Нет, поразило больше всего и манило, тянуло и вспоминается сейчас с особой нежностью, небольшое местечко, городок в тридцати милях от Мельбурна, именуемый Эльсем или Эльтем /Бог его знает, как по-русски читается английское th/. От маленькой, тихой станции, до которой на электричке полчаса /единственное неудобство, — всенародная борьба с никотином, — на всех вагонах ненавистное "no smoking"/ поднимаешься в гору, сворачиваешь налево и попадаешь в очаровательное поместье с обнадёживающим названием Стенхоп /"хоп" — по-английски "надежда"/. Там-то, в этом поместье, среди цветущих кустов неведомо

чего, в домике, набитом русскими книгами, и живет та самая Нина Михайловна, которая в восемь часов деликатно стучит в дверь и вносит поднос с дымящимся кофе.

— Вот здесь вы будете жить, — сказано было мне, когда я впервые переступил порог этого дома. — В комнате покойной мамочки. Никто вам не будет мешать. Вот умывальник, душ, полотенце. Отдыхайте.

Мамочкина комната вся из окон — и туда, и туда, и туда. За окнами сад. На столах, тумбочках, комодах мамыны штучки, бирюльки, фотографии прошлого века. На стенах никаких "абстрэ" /на Западе, диком и недиком, не найдешь дома без них/, здесь уютный реализм наших дедушек и бабушек. Ну, и книги. Везде. Как у нас до войны, только у нас были книжные шкафы, а здесь полки, — теперь у всех полки, — а на них книги, те же книги, что и в домах средней, дореволюционной интеллигентской русской семьи.

/Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает.../

Кто же она такая, эта самая Нина Михайловна Кристисен, в девичестве Максимова? Мне повезло — я попал как раз на Пасху. На куличи съехались поклонники их и Нины Михайловны не только из Виктории, но и из Аделаиды, Квинсленда и даже черный-черный абориген из Северной Территории специально приехал похристосоваться.

Откуда такая любовь? Говорю, не смущаясь и не боясь пышных слов, — она душа, сердце, вдохновитель и организатор первого русского факультета /по-здешнему департамента/ в Австралии — в Мельбурнском университете. "Да что вы, что вы, — замашет она руками, — до меня еще..."

Не слушайте ее, — что там было когда-то, не знаю, а что душа и вдохновитель — знаю, видел и чувствовал на каждом шагу.

Живет Нина Михайловна в Австралии спокон веку. Сейчас в отставке. Но с университетами — обоими мельбурнскими, канберрским и сиднейским не порывает — везде друзья и поклонники. Родом сама из так называемой Харбинской эмиграции. Отец ее был капитаном то ли на Амуре, то ли на Уссури. Потом гражданская война. Харбин, Япония, Австра-

лия. Монархист до мозга костей, он долго не разрешал ездить дочери своей к этим "товарищам, узурпировавшим власть" /а ей ужасно хотелось, если не к ним, то в узурпированную ими страну/, и только благодаря хитрости друзей удалось папочку обвести вокруг пальца. Организовано было приглашение от самой английской королевы погостить с месячишко в британском посольстве в Москве. Папочка был польщен и сдался.

Чем-то Нина Михайловна напоминает мне мою мать. Маленькая и неутомимая. "Сейчас принесу... Мигом!.. Минуточку!" Как и у моей матери, в словаре ее нет слов "схожу, пойду", только "сбегаю, галопом". И действительно, бежит, быстренько-быстренько, не успеешь возразить.

Кроме того, она страдает каким-то комплексом альтруизма — любит доставлять вам приятное. Таким приятным, преподнесенным мне, была поездка по восточному побережью. Так получилось или было подстроено, но как раз, когда мне надо было возвращаться из Сиднея в Мельбурн, выяснилось, что они с мужем тоже едут и у них машина, и они очень рады были бы, если б я согласился...

И мы поехали. Не торопясь, с заездами на пляжи, купаниями, ночевками в придорожных, дешевых мотелях /дешевые, но и телевизор, и вентилятор, и все до кастрюлей, сковородок, посуды, чая, сахара, соли, перца, кофе — включительно/ или у друзей в бунгало с раздвижными стеклянными стенами.

Правил муж, Клем, она же снабжала нас орешками и совала в рот бананы, но, в основном, волновалась, что мы что-то пропустили, не увидели, прозевали. Особенно огорчало ее то, что мы с Клемом, разъединенные языками, не могли поговорить /"а он так любит, так любит..."/. Клем — очки, высокий лоб, седая борода клинышком, такими в кино изображают заслуженных профессоров, — личность выдающаяся. В прошлом редактор наиболее солидного "толстого" журнала, одно время достаточно левоватый, приглашаемый в Советский Союз и там ублажаемый, сейчас свои позиции несколько пересмотрел — одним словом, поговорить нам

было о чем. Но не получалось. И он раздражался. Потом малость прихворнул и остаток пути мы проделали уже без заездов на пляжи, пустынные, девственные, на десятки километров тянущиеся вдоль Тасманова Моря /оно же Индийский океан/, полные не только ракушек, но и облепленных ими водорослей, которые я, старый псих, старательно высушив, привез, конечно, домой. Теперь они развешаны по стенам и книжным полкам, единственный вид абстрактного, хотя и рожденного морем, искусства, допускаемого в мое жилище.

Пляж — моя слабость. С детства. С Ворзеля. С ворзелевского пруда, очень поленовско-левитановского, с островком посередине. Доплыв к концу лета до него /а до этого вдоль берега от кусточка до кусточка/, я впервые понял, что в преодолении препятствия есть что-то манящее. Преодолев потом, лет в пятнадцать или шестнадцать, Днепр, я еще больше укрепился в этом мнении. Преодоление было героическим, — пришлось поднырнуть под неожиданно появившимися на моем пути плотами. /Вскочить и пробежать по ним было бы нарушением условий, а переждать — снесло бы к мосту./ С годами вид и характер встречавшихся на моем пути препятствий изменился, но более или менее удачное преодоление их я всегда связываю с теми самыми плотами на Днепре. Это был первый преодоленный барьер.

На смену Днепру пришло море. Черное море. /Только Эгейское у греческих островов может в какой-то степени с ним сравниться./ В отрочестве Алушта, раскаленная галька Профессорского уголка, заплывы до горизонта; в послевоенные годы божественный Коктебель, — единственный географический пункт Советского Союза, по которому по-настоящему тоскую. Первый утренний заплыв /нет, уже не до горизонта/, где-нибудь возле могилы Юнга, а потом часик-полтора до завтрака, наедине с солнцем, прибором. Хамелеоном — налево, Кара-Дагом — направо. Лежишь, о чем-то думаешь...

Моя приятельница, сторонница активного отдыха — "Пошли на Кара-Даг! Айда в Мертвую бухту!" — избранный мною вид отдыха окрестила метким словом "сменолеж-

бище" — утром валяется на пляже, потом завтракает, опять загорает на пляже, обедает, спит под кустом, ужинает, иногда ходит в кино и ложится спать. Что ж, кому Кара-Даг, а кому погреть старые кости. /Впрочем, когда они были не так стары и кровь в жилах еще играла, довольно бойко прыгал со скал, а 10 апреля 1944 года, в день освобождения Одессы, скомандовал : "Раздеться! За мной!" и, заражая бойцов личным примером, ринулся в довольно-таки ледяные волны вновь обретенного моря/.

Сейчас география моего любимого занятия /по-неаполитански "дольче фарньенте" — сладкое безделье/ несколько расширилась. В Сиднее ездил на небольшой, уютной Бельмораль-Бич. Пугали акулами, даже какие-то сети показывали, но я не из пугливых, к тому же одна мысль о возможной гибели русского писателя не на дуэли, не от запоя и не в лагере, а в зубах прожорливой акулы, вызывала во мне противоестественное желание с ней встретиться.

Нокаутирован я был Гаваями.

Кто в Союзе знает, что такое серфинг? Уверен, что никто, кроме, разве что сотрудников "Советского спорта". На западных пляжах все увлекаются сейчас так называемыми — *planche a voile* — не знаю, как это по-русски будет — дощечка ми под парусом. На них довольно быстро носятся, подгоняемые ветерком, по спокойной глади Лазурного берега или Сиднейской бухты.

Серфинг — это та же дощечка, только без паруса. И занимаются этим спортом отнюдь не на глади, а на волнах, достигающих иной раз пяти-шести метров. Такие волны есть в Калифорнии, на севере Австралии и самые шикарные на Гавайях, на северном побережье острова Оаху, где и проходят наиболее ответственные международные соревнования.

Что вытворяют на этих соревнованиях лихие ребята, знаю только по фотографиям, но даже то, что я видел на пляже Уайкики в Гонолулу, вызвало во мне приступ чернейшей, злейшей зависти. Боже, как завидовал я этим ребятам...

В Коктебеле мы тоже любили нырять в набегавшие волны прибоя, даже довольно большие и, кувыркаясь в них, орошае-



мые мокрой галькой, испытывали неизъяснимое наслаждение. Иногда выкарабкивались, прихрамывая, с синяками.

О! Были б в моей молодости эти дощечки, я б, при всем своем безразличии к спорту, и волны нашел бы соответствующие и, ручаюсь, был бы не последним на их пенистых гребнях. Сейчас же сижу на своем диване и пускаю слюни, глядя на вырезанные из гавайских журналов сногшибательные фотографии, растыканные по книжным полкам, — один там даже улыбается из-под девятого вала и показывает мне пальцами — V — победа!.. Эх-х... И зависть грызет. В Гонолулу мимо меня протопала пожилая, приблизительно моего возраста, дама с этой самой дощечкой под мышкой. Куда ты, ну, куда ты, старуха? А старуха спокойно вошла в воду, легла на дощечку животом, предварительно прикрепив ее тросиком к щиколотке и, шлеп-шлеп, поплыла туда, в даль, где загорелые хлопцы прыгали на волнах. И, что ж вы думаете — тоже запрыгала... Кажется, я заплакал...

О нем еще будет, об этом прославленном на весь мир пляже Уайкики, — запомнился он мне навсегда не только благодаря своим дощечкам, — сейчас же вернемся, назад, в Австралию. И если не к самой миссис Кристисен, с которой расстались где-то на побережье Индийского океана /не сомневаюсь, что и она, нажми я на нее познергичнее, с меньшей отвагой зашлепала бы на той дощечке/, то к другой миссис, на противоположном конце материка, которая вправе обидеться на меня за неумеренные /на ее взгляд/ славословия по адресу Нины Михайловны.

Это она, несколько пополневшая и поседевшая, кинулась ко мне на аэродроме города Перт.

— А этого молодого человека узнаешь?

— Ха-ха, — сказал я, а может быть и более выразительно, поскольку этого не такого уже молодого человека с бородкой последний раз я видел, когда ему минуло один год. Прошло с тех пор...

Когда же все это было? И было ли вообще?

Киев. Довоенный Киев...

Никаких еще в нем двух миллионов, как сейчас, и никаких высотных зданий, и памятников Ленину /сейчас их аж два

на одном Крещатике/, и этот самый Крещатик ничего еще не знал об ожидающем его пожаре, и было на нем только четыре новых здания — Дом трестов, почтамт, Еврейский /!/ театр и универмаг, а остальное все старое, низкорослое, но такое привычное.

И жили в нем мальчики и девочки, весьма интеллигентные и целеустремленные. И ходили они по вечерам в театральную студию при Театре русской драмы. Если вам случалось проходить после семи вечера по Пушкинской улице, вы могли увидеть их на ступеньках актерского подъезда. Весело болтая, покуривали они, в своих бородах и костюмах из "Пугачевщины" и в пестрых камзолах "Благочестивой Марты". Обнаружили б вы тогда среди них и меня с Наниной Праховой.

И происходило все это в незабываемые тридцатые годы нынешнего столетия.

Вопрос, который часто слышу сейчас, — как же мы, молодежь тех лет, пережили эти самые страшные тридцатые годы?

А вот так вот — пережили. Стояли в очередях за маслом и восторгались челюскинцами. Ходили в вельветовых толстовках и тапочках, а летом с рюкзаками за плечами отправлялись на Кавказ. Где-то совсем рядом пухли с голоду крестьяне, а мы прорабатывали исторические решения очередных съездов, тут же забывая, о чем там шла речь. Читали Хемингуэя и чего-то там возились в кустах на днепровских откосах.. Нам было по двадцать лет.

Да, но... В девятнадцать лет был уже написан "Демон". Писарев и Надсон — оба умерли, не дожив до двадцати пяти. Якир в двадцать с чем-то командовал уже дивизией.

Что ж, на ступенях Русской драмы сидели другие ребята, других судеб, других задатков.

А теперешние двадцатилетние?

Дома — пьют по-черному. Хуциевские "Мне двадцать лет" талантливая и трогательная идеализация, а ерофеевские "Москва-Петушки" или совсем недавно появившаяся "Алкоголики с высшим образованием. Картины народной жизни" Ник. Вильямса отнюдь не преувеличение. Увы, но это так.

А здесь, на Западе?

Пройдите вечером по бульвару Сен-Жермен. Столики, столики, столики прямо на тротуаре. А за ними такие молодые, красивые, изящные, беспечные что-то там сосут, улыбаются, острят... А ведь где-то Афганистан, Камбоджа, Хомейни, умирающие, похожие на зародышей дети в Уганде. И об этом не молчат, пишут, сотни жутких фотографий в разных "Пари-матчах", каждый вечер телевидение... А они, расплачившись, сядут в свои "Пежо" и "Рено" и такие же веселые, раскованные, легкие покатают куда глаза глядят...

Ну, а бывшие хиппи или нынешние "панки" и "autonomes", скандальные хулиганы на мотоциклах, бьющие витрины? Или идейные террористы бандеровского толка? Даже в тихой Швейцарии строятся баррикады и летят камни в полицейских. Что ж, есть, увы, и это. Некая полуинфантильная, полуфашистская форма протеста. Как кто-то печально сострил — "...Разрушим — до основания, а затем???" — с тремя вопросительными знаками. Но в основной своей массе, подавляющей, бульвар-сен-жерменской, и вовсе не плохой, идеал — это машина, уик-энд, а Афганистан и Камбоджа тема для разговора, может быть, даже спора.

У нас ничего подобного не было. Даже отдаленно напоминающего. Но веселость была. И влюбленность друг в друга, в искусство, в Театр /с большой, даже громадной, буквы/, в Иван Платоновича...

Иван Платонович Чужой был нашим учителем. Любимым. Боготворимым. Мы по уши влюблены были в него, такого красивого, умного, тонкого, в прошлом артиста Художественного театра, ушедшего оттуда по болезни — на сцене, чуть ли не на спектакле /дублировал Качалова в Бароне/, началось кровохарканье, с трудом откачали... Все, что он ни говорил, было прекрасно, все, чему учил, еще прекраснее. О, театр! О, правда переживаний! О, Великий Станиславский! Триждывеликий МХАТ! "Дни Турбиных" с Хмелевым! "У врат царства" с Качаловым! "Царь Федор" с Москвиным! И все мы были потенциальными Хмелевыми. Качаловыми, Тарасовыми и Еланскими... И... и... Не пили! Вот так вот,

не пили! Ну, иногда напивались, случалось, на Новых годах, на чьих-нибудь именинах, но разве это можно назвать питьем? Детский сад.

В свободные вечера собирались у Нанины Праховой. С Иван Платоновичем во главе. Чай с вареньем, пироги, какие-то шарады, которые исполнялись на полном серьезе, чтоб понравиться Иван Платоновичу. А со стен глядели на нас полотна Врубеля, Нестерова, Васнецова, Коровина — все они были друзьями дома, а дом был художнический — и отец, и мать, и дед — знаменитый Адриан Прахов, которому всем обязан киевский Владимирский собор.

Нет уже теперь таких квартир. Есть другие, побольше, с привезенными из-за границы Шагалами и роскошными альбомами Сальватора Дали на финских полках, но таких нет. Пусть в домах тех годами не работали лифты и долго надо было спотыкаться в длинных коридорах, зато попадали затем в комнату, ту самую, где мебель по рисункам Врубеля и в пудовых золоченых рамах такие красивые обнаженные весталки Семирадского и Котарбинского /мы их немного презирали, но любовались/, пейзажи Капри, Везувия, парижских бульваров с фиакрами и омнибусами. Нет этих квартир. Родители умерли, дети переженались, мебель продали, война раскидала всех во все концы света...

Но это было уже потом. В те же дни, провожая Иван Платоновича домой по тихим ночным киевским улицам, мы говорили о прекрасном, возвышенном, об искусстве, служении, а на следующий день... Черт с ним, что утренник и надо изображать 2-го мужика или 3-го горожанина в осточертевшей "Пугачевщине", и с веником и совком убирать за кобылой Пугачева, которая от волнения и прожекторов вечно оскандаливалась на сцене. Зато потом, до вечернего спектакля... О, эти часы!

"Тварь ли я дрожащая или право имею?" — трагическим шепотом произносил я — Раскольников над трепетным пламенем свечи на столе. Я видел тогда только расширенные от ужаса глаза Сонечки Мармеладовой и ничего другого. А ведь именно в те, заполненные счастьем и влюбленностью

дни, не какая-то там Камбоджа или Уганда, а четверть твоей собственной России, Украина гнила в лагерях. Ну, может быть, еще не четверть, но было это в незабываемом тридцать седьмом году.

Тем же летом, уже окончив студию, мы гастролировали с театром в Днепропетровске и Запорожье. Изображая франкистских офицеров в сверхгероической пьесе Мдивани "Альказар". Вели на расстрел Юру Недзвецкого — Гарсиа Лорку. Тогда же, идя как-то на репетицию, увидели в газете, вывешенной на стене, сообщение о предателях и изменниках Тухачевском, Якире, Уборевиче. Ахнули, не поверили, а через полчаса думали уже о том, как бы смыться с репетиции и махнуть на пляж.

Было мне тогда уже не двадцать, а двадцать шесть лет.

Прошло еще два года. Меня и Нанину занесло во Владивосток. Что-то изображал там на сцене театра Тихоокеанского флота, не помню уже что, но кроме того, вместе с краснофлотцем Александровым мастерил макет для Балзаковской "Мачехи". Потом для "Доходного места" Островского. Декорации, костюмы, реквизит. Все зависело от меня, театрального художника, как именовался я на программке сразу же за худ. руководителем и режиссером-постановщиком. Было интересно, увлекательно, тешило самолюбие. А по вечерам, после спектакля, в крохотной моей каморке, сидя друг у друга на коленях, весело выпивали с ребятами — все они, молодые актеры, проходили военную службу в нашем театре.

В Испании все еще шла война. Мы переживали неудачи республиканцев, иной раз позволяли себе выпить за их успехи по глотку Бог его знает как оказавшегося на владивостокских прилавках ихнего же испанского шампанского. Но, ей-Богу, выпив за их здоровье, говорили, перебивая друг друга, о вещах, куда более близких и жгучих. А в нескольких километрах от моей каморки, на Второй речке, куда часто ездили мы с выездными спектаклями, умирал Осип Мандельштам. Кто знал об этом? А большинство, и я в том числе, просто никогда и не слышали о существовании такого поэта.

Грустная картина? Возможно. Не знаю — будь мы тогда протестантами, борцами, Буковскими или Кузнецовыми, жизнь, может быть, пошла бы по-иному. Кто знает. Но мы ими не были. Поэтому, вероятно, и выжили. И пережили. Более того, мы даже не отвергали Советскую власть. Другой мы не знали, а эту принимали, как данность. Старались не замечать ее, иронизировали над ней, подсмеивались, но антисоветскими не были. Ими мы стали уже после войны, перевалив за тридцать.

Вот какие думы, выражаясь литературным языком прошлого века, теснились чередой перед моим мысленным взором, пока я летел над Индийским океаном, где-то между Бомбеем и Пертом, конечным пунктом моего рейса.

Все это всплыло, ожило — я знал, что первым, кого увижу на "далеком материке", будет та самая Нанина Прахова, с которой вместе боготворили Ивана Платоновича, вместе бесславно поступали в студию Станиславского, вместе работали во Владивостоке.

С тех пор прошло сорок лет... После Владивостока наши пути с Наниной разошлись. Один сезон проработал я в Вятке /тогдашнем Кирове/, другой в Ростове-на-Дону, оттуда и пошел на фронт. Нанина ж с родителями пережила оккупацию в Киеве. Потом оказалась в Германии. Освободили американцы. Долго слонялась по различным лагерям "ди-пи", с малышом Никиткой на руках. В конце концов осела в Австралии. Там и живет, в окружении детей и внуков. И не жалеет.

Бог ты мой, как тосковала она первые годы по Киеву. Там остались братья, сестры, старики-родители. Живы ли они? Писать боялась.

Как-то телефонный звонок. В Киеве.

— Говорит Леля Прахова. От Нанинки письмо!

— Не может быть! Откуда?

— Из Австралии.

— Из Австралии?

— Из Австралии.

Я помчался к Леле, сестре, в ту самую квартиру на Житомирской 40, с Врубелями и Васнецовыми. Стало их поменьше.

Николай Адрианович, отец, написал воспоминания. Выпустило их издательство "Мистецтво". И на первой странице портрет отца. И увидела Нанина его в своем Перте, в магазине русской книги — не помолодел, конечно, но та же борода, та же милая улыбка в глазах, — не выдержала и написала письмо.

Так началось.

Сейчас должно было быть продолжение.

Маленький домик в Лидервиле, предместье Перта. Четыре комнатки. Одна сдается. Живут там две китаяночки, студентки. По утрам варят кофе, тихонько, как мышки, что-то жуют на краю стола и исчезают. Садик. Сушится белье. В глубине небольшое строение, именуемое "замком", — Нанинина мастерская, — пошла по стопам родителей, стала художницей. Никитка с семьей живут отдельно. Приходят. Жена и дети, — по-русски ни слова, — смотрят на меня с неподдельным удивлением, все-таки "оттуда". Никитка ироничен. Вспоминаю его первое письмо в Киев. "Не знаю, "выкать" или "тыкать". Судя по фотографии, ты похож больше на бандита, чем на писателя, поэтому буду "тыкать". Отношения в общем установились. Пиво по утрам приносил.

С Наниной...

А помнишь? А помнишь? Надолго этого не хватило. Стерлось, перепуталось, забылось, а в общем-то отодвинулось в такую глубь веков. Что там Австралия, моря-океаны, в одном городе жил и годами не встречался. Нелечка Литвинова, — мы с ней вместе учились, — тяжело болела, а я перед отъездом даже не позвонил. Иван Платонович умер перед самым концом войны. Оккупацию провел в своем Острере, на берегу Десны. Мы перекинулись двумя-тремя письмами, но так и не увиделись. В одном из писем он писал: "Если кто-нибудь из ваших друзей, Вика, скажет вам, что едет в Остер, допустим, за картошкой, напроситесь к нему в спутники и разыщите меня в знакомом вам домике на ул. 8-го марта..." Не разыскал, никто не поехал за картошкой.

Прожил я у Нанины с неделю. Вечера на два хватило этого "а помнишь?", затем пошли друзья, гости, какие-то мои выступления, встречи с кем-то, зоопарк, еще какой-то парк, со старинными пушками и памятником-обелиском, пляж, купание — жарко было, как в Киеве в разгар лета.

В комнате, отведенной мне, было по-киевски уютно. Знакомые портреты по стенам, — умудрилась как-то вывезти, — брата, мамы — Анны Августовны, какой-то знакомой) старушки, что-то итальянское, каприйское, — Нанина именно на этом острове и родилась. Росла в Киеве. Как и все мы, ни Ермоловой, ни Комиссаржевской не стала, зато стала австралийкой — полжизни уже здесь! — растит и балует австралийских внуков, бойко чешет по-английски, раз в год или два устраивает свои выставки — живопись ее и симпатичная керамика, очень русские по духу, неплохо продаются, — о Киеве вспоминает все реже и реже. "Мечтала поехать. Накоплю денег и поеду. Пока копила, все поумирали. Один ты остался, и то сбежал. К кому ж ехать?" "Копи теперь на Париж. Городишко ничего". На этом и сговорились.

Так и пролетела неделька в домике на окраине Перта, — в самом центре побывать и не успел, — в этой странной и трогательной смеси русского, киевского, пертского, австралийского, английского — такого как будто несоединимого.

/Пусть роза сорвана, она еще цветет.../

Смотрю со стороны на этот вырванный из родной почвы цветочек. Ну, поползла, ну, поседела, ну, где-то там что-то болит, а вот сядет у стола, что-то зашивает, совсем как в том далеком Владивостоке в уютной комнате с занавеской через всю комнату и видом из окна на лютеранскую кирху. Только и разница, что очков тогда на носу не было, а сейчас есть, если не засунула куда-нибудь — "и куда я свои очки дела, ты не видел?"

Я рад за Нанину. Роза не роза, но на склоне лет по-своему цветет, — тишина, покой, домик, мастерская, и то, что она делает, кому-то нравится, покупают, и внуки хорошо занимаются, любят бабушку, а бабушка их, и газет бабушка не читает /и никогда не читала/, и Россия с ее Афганистаном

далеко, и все это вместе взятое я окрестил бы одним прекрасным словом, которого многие стыдятся — благополучие.

Было ли б оно дома?

Австралия — континент /прежде называвшийся Новой Голландией/, лежащий к юго-востоку от Индийского архипелага, по обе стороны южного поворотного круга, и остров Тасмания, все остальные острова Тихого океана носят название Океания.

Австралийцы — первобытные жители австралийского материка. Костяк тонкий и красивый, руки и ноги худые, но зато живот очень большой вследствие неравномерно-распределенного и плохого питания. Подобно африканским неграм, австралийцы не имеют икр. Они вообще ласковы, добродушны и отличаются веселым нравом.

Флора — наиболее распространенный вид растений — эвкалипт, разных видов которого около ста, и бесстебельная акация, которой известно около ста видов. Листья у них обращены к небу или земле не поверхностями своими, а краями. Эвкалипты, кроме того, меняют не листья, а кору.

Фауна — сумчатых или двуутробок около ста видов. Самое большое — кенгуру, мясо которого вкусно и здорово, а хвост составляет лакомое блюдо. Наиболее странное среди австралийских животных — ехидна и утконос /*Ornithorhynchus paradoxus*/— единственный вид единственного рода одного из двух семейств однопроходных.

Муравьи, величиной больше сантиметра, очень сильны и злы. Мухи являются настоящим бичом страны.

Сидней /*Sydney*/ — гл. гор. англ. колонии Новый Южный Валлис, в вост. Австралии, под 33°51' ю. ш. и 151° 12' в. д. на берегу зал. Порт-Джексон, в очень живописной местности. Летняя температура одинакова с температурой Неаполя или Алжира. Болезней легких не бывает, эпидемии случаются очень редко. Зато понос принадлежит к самым распространенным болезням.

/Энциклопедический словарь Брокгауза  
и Эфрона, СПб, 1890, том 1/

Увы, нет под руками Большой Советской Энциклопедии, приходится пользоваться Брокгаузом и Эфроном, изданием солидным, но все же девяностолетней давности. С одной стороны, это плохо, так как не найдешь там кое-каких существенных сведений /как то: о золоте, обнаруженном в недрах Австралии только через год после выпуска первого тома "А — Алтай", а позднее и нефти, — плевали они сейчас на всех саудовских шейхов/, с другой стороны, в более поздних энциклопедиях о золоте и о нефти предостаточно, а о том, что у туземцев нет икр, а жителей Сиднея одолевают поносы ни слова.

Настаиваю — нет занятия более увлекательного, чем чтение энциклопедий. Ищешь, например, статью "Австралия", а попутно, листая, узнаешь ценнейшие сведения об Александровской колонне против Зимнего дворца — о ее размерах, весе, о том, как перевозили из Финляндии, устанавливали при стечении многочисленной толпы, в присутствии самого императора Всероссийского Николая I этот двенадцатисаженный монумент и о том, как император, поблагодарив автора проекта, сказал ему: "Montferrand, vous vous etes immortalise"— Монферан, Вы себя обессмертили! В БСЭ ничего об этом нет, а здесь подробно, на четырех колонках, с картинкой. Правда, на соседней странице, увы, без всяких подробностей, сообщается о некоем Александровском И. — изобретатель подводной лодки. И все. Больше ни слова. Обидно.

Впрочем, все рекорды, во всех областях, побивает Большая Советская Энциклопедия, особенно второе ее издание, так называемое синее. Я плакал горячими слезами, расставаясь с ней перед отъездом на Запад. До сих пор храню пришедшее из Главной ее редакции извещение-рекомендацию — вырезать /"при помощи ножниц или бритвенного лезвия", хорошо, что не топором/ страницы 21, 22, 23 и 24 с портретом во всю страницу некоего товарища в пенсне и заменить их предлагаемым Беренговым заливом и морем. Но об этом я уже писал, так же как и о таинственном исчезновении из истории Государства Советского Кагановича и Маленкова

и забавных злоключений Ильфа и Петрова. Не буду повторяться, хотя очень хотелось бы. Пора и честь знать.

Итак, 3 марта 1980 года в 9.30 утра со взлетного поля лондонского аэродрома Хитроу стартовал Боинг авиакомпании "Кантас" и взял курс на Сидней, через Перт—Мельбурн, с остановкой в Бомбее. Внутри находился я. Через двадцать пять часов, заполненных едой, кинофильмами и общей усталостью, в аэропорту Перта произошла та самая историческая встреча с юностью, о которой я уже поведал.

Отправлялся я в Австралию не просто так — расширить кругозор и пополнить коллекцию увиденных мною стран /сейчас их уже двадцать три, не считая печальной памяти Бангкоков и прочих Дубай, где знакомство со страной ограничилось аэродромными сувенирами и, в лучшем случае, пивом/. Цель поездки была просветительски-миссионерская — поведать австралийцам об успехах и достижениях одной страны, постигшей все прелести некой зрелой формации, в сущности которой я малость разбираюсь.

Занимался я этим похвальным занятием почти два месяца, выступая бесчисленное количество раз, и под конец не мог просто слышать свой голос, до того он мне опротивел.

Аудитории были разные. Первая, в Перте, чуть ли не в день приезда, просто-напросто еврейская, что очень упростило дело. Киев, антисемитизм, Бабий Яр — все всем было понятно. В дальнейшем студенты, профессора, журналисты, даже писатели /ни одного из них, к своему стыду, не читал, впрочем, как и они своего гостя/, в основном же, эмиграция. Не помню уже точно, но тысяч по пять, если не больше, русских и в Мельбурне и в Сиднее уже наберется. В большинстве, это китайская, так называемая харбинская, эмиграция. Есть и вторая, послевоенная волна. Появилась теперь и третья — недавно приехавшие.

За годы своих странствий я привык к разношерстности аудиторий. Иностранцы, как правило, спокойны и невозмутимы /за исключением итальянцев/, вопросами не одолевают.

Выходцы же из наших краев встречают по-разному, не всегда с восторгом. В Канаде я это почувствовал, выступая перед своеобразным конгломератом петлюровцев, мельниковцев, бульбовцев и бандеровцев, в Австралии же на меня косо поглядывали кое-кто из харбинских монархистов /как-никак, а тридцать лет состоял в рядах/ и власовцы /как-никак, а в прошлом советский офицер/. В споры я не вступал. Ни в Канаде, где иные относились ко мне как к "великодержавному шовинисту" /из тех, кто Гоголя считают предателем/, ни в Австралии, где, немногие, правда, убеждали меня, что встретиться мы на поле боя, дали б они нам дрозда! Что ж, через сорок лет многое представляется в особом свете. Всем хочется выглядеть героями, да еще и идейными. Я к этому не стремлюсь. Как в старину говорили — Бог рассудит! А теперь — разве что История? Да и ей как-то особенно не доверяешь.

Приносят ли какую-либо пользу все эти выступления? Хотелось бы думать, что да. Возможно, кому-то в чем-то и открыл я глаза, — но, в общем-то, правильно гласит русская поговорка, — сытый голодного не разумеет. А кругом были сытые...

К концу поездки я стал задавать своим собеседникам — студентам, профессорам, членам парламента, эмигрантам разных поколений — один только вопрос:

— Скажите, что вам в Австралии не нравится?

Пауза. Морщится лоб.

— Что мне в Австралии не нравится?

— Да.

— Сейчас скажу... Одну минуточку.

— Жду.

— Сейчас, сейчас... Дайте подумать.

Думает.

— Видите ли, когда мы приехали сюда...

— А когда вы приехали?

— В 1920-м./Варианты — три года назад, в прошлом году.../

— Нет, не тогда, а теперь. Что вам теперь не нравится?

— Теперь?

— Да, теперь...

— Сейчас скажу... — Смотрит на часы. — Батюшки, уже пять! А я к половине пятого обещал. Знаете что? Вы вечером сегодня свободны? Приходите к нам, обо всем потолкуем.

Это эмигранты. Местные жители несколько конкретнее. Как правило, не нравится данное правительство. Лейбористы ругают консерваторов, консерваторы лейбористов. Обычная картина. Ну, и инфляция, безработица, молодежь, мол, не та пошла. А молодежь о стариках — маразматиках, все новое им чуждо.

Маразматиках, как правило, живут в отдельных домиках с садиком, имеют две машины /свою и жены/, у старшего же сына, осуждающего маразматиков, в худшем случае, мотоцикл. События в Афганистане их, конечно, волнуют, без вопросов о бойкоте олимпиады не обходилось, но в общем-то все это так далеко. Индийский океан, Тихий океан...

Короче — сытая, благополучная страна. Этим, впрочем, особенно не удивишь — Франция или Англия с голоду тоже не умирают. Но там, глядишь, Марше мутит воду, там террористы одолевают, там самолеты угоняют, не знают, что делать с кубинскими и гаитянскими беженцами, в Южной Америке что ни день, то путч, новая хунта, а здесь... Не Новую же Зеландию или Новую Гвинею бояться? Правда, в прошлую войну японские самолеты долетали до Австралии, бомбили даже порт Дарвин. А в первую мировую войну в процентном отношении, говорят, Австралия среди союзников понесла наибольшие потери — в Мельбурне и Сиднее воздвигнуты, как во всех порядочных городах, весьма монументальные мемориалы с колоннами и вечным огнем. Я видел очень тронувшие меня аллеи, где у каждого дерева дощечка с именем павшего воина /у нас лесов просто не хватило бы.../. И все же — слава Индийскому, слава Тихому океану!

Второе — богатые недра. Почти все свое собственное. А главное — нефть. Цифры называют разные — то 60, то 70, то даже 80 процентов добывается в Австралии. Можно не ломать шапки перед всеми этими кувейтами и эмиратами.

И третье — никакого сепаратизма, никакой национальной розни. Ни Тасмания, ни Квисленд не требуют автономии. Нету тут ни Корсики, ни Бретани, ни басков, ни, тем более, Северной Ирландии. Есть, правда, Северная Территория. У нее своя проблема — аборигены.

С ними, теми самыми, у которых большие животы и нет икр, увы, не все так уж блестяще. Тот же Брокгауз и Эфрон еще тогда писал: "Все попытки европейцев приохотить австралийцев к учению и к оседлости остались безуспешными. По мере движения вперед европейских колонистов они отступают и быстро идут навстречу своему окончательному уничтожению. Благодаря дикости и необразованности австралийцев, их умственные способности обыкновенно ценятся не очень высоко, но довольно значительное развитие этих способностей доказывается находчивостью, которую обнаруживают австралийцы на охоте и особенно свойствами их языка, равно как и заметными следами поэзии и некоторыми прекрасными мифологическими воззрениями".

Сейчас в австралийцев превратились эти самые колонисты, а истинных австралийцев перекрестили в аборигенов. Но намного ли стало им лучше за последние сто лет? Во всяком случае, "колонисты" опускают глаза, когда речь заходит о туземцах. Да, чего-то не доглядели, что-то прозевали, допущалась иногда и жестокость, что и говорить, но, строго между нами, учиться-то они действительно не хотят... И пьют...

Тут я умолкаю.

Вот так и живет страна, в которой автомобилей, как минимум, по два на семью, а овец раз в пять больше, чем людей. И все ж одна из моих слушательниц, молоденькая, симпатичная студентка, остановив меня на улице, сказала:

— Хотите вы или не хотите, а в Советском Союзе лучше.

— Серьезно?

— Вполне. Там ведь нет капиталистов.

— Нет, — согласился я. — И кое-чего другого тоже нет.

И разговор уял.

На этом, думаю, можно наш сверхсжатый политико-экономический и социальный экскурс закончить.

Поговорим о прекрасном.

Начнем с Георгия Георгиевича Бонафедде, — он же Гога, — моего Вергилия, опекуна и ангела-хранителя. Инженер по специальности, он только что перешел на пенсию, поэтому имел время и возможность организовать и отлично провести "тур-нэ" гостя из Европы. Это он, встретив в Аделаиде, его, прилетевшего из Перта, отвез на своей машине в Мельбурн, а затем в Канберру. Это он дал ему кров, а по утрам готовил яичницу, — жена рано уходила на работу. Это он волновался, будет ли сегодня полный зал и какой будет прием, а еще больше, не забыл ли гость, любящий шлепать в сандалиях на босу ногу, надеть носки перед визитом в парламент и повязывать ему собственный галстук. Это он в десятый, двадцатый раз терпеливо переводил на английский рассуждения писателя, от которых под конец обоих просто тошнило.

В Канберру мы приехали под вечер. Дорога спокойная, по французским нормам пустая, справа и слева проносились золотистые, сухие, выжженные солнцем холмы — в этом году засуха — и рощи не дающих тени эвкалиптов. Иногда они проносились мимо страшными, голыми остовами-скелетами, и в скрюченных безлистных их ветвях на фоне розового вечернего неба чувствовалось что-то зловещее.

— Окольцованные, — объяснили мне.

Оказывается, печальные эти скелеты дело рук человеческих. Деревья сознательно убитые. Чтоб не пили влагу, предназначенную для пастбищ. Их окольцовывают, лишают коры и они сохнут. Это дешевле и скорее, чем срубить. Превращение же пейзажа в какую-то хичкоковскую декорацию во внимание не принимается.

После выжженных холмов Нового Южного Уэллса, Канберра поражает своей зеленостью. Ее принято называть городом-садом. Впрочем, как и наш Киев, который, увы, ни в какое сравнение с ней не идет.

Канберра молода. Для города семьдесят лет, которые он будет праздновать в 1982 году, не возраст. Канберра искусственна, придумана, вплоть до украшающего ее большого озера. Зелень ее тоже искусственна. Деревья — а их сколь-

ко-то там миллионов, известна точная цифра — привезены и посажены. Автор всей этой "придумки" Уолтер Берлей Гриффин. Первые эскизы будущей столицы сделаны в 1912 году.

Всю жизнь я думал, что красивее немецких или французских готических городов ничего нет. Посреди кафедральный или какой-нибудь другой собор, — сам по себе уже прелесть, — перед ним на маленькой, выложенной брусчаткой площади Жанна д'Арк или неведомый тебе курфюрст, а вокруг теснота старинных, с черепицей домов и запутанная сеть узеньких, извилистых улочек. На шпилях петухи, геральдические львы высовывают языки и завиваются хвостами над дубовыми дверями уютных сводчатых пивных с бочками в глубине и ландскнехтами на стенах. В Англии или Шотландии свой аромат. Готика другая, и свои вязы, и пабы, и почтовые рожки над стойкой. В Италии по-своему — все лезет в гору, лестницы, ступени, арки, глубокие тени на белых стенах, яркое солнце.

Но где б это ни было — в Германии, Франции, Англии, Италии — это тесно, сжато, налезает друг на друга, сделано временем — кто архитектор, Бог его знает.

И вот, при всей своей любви к этой средневековой, заволаживающей тесноте, я, увидев Канберру, ахнул. Канберра — это небо. В обычных городах ты его не видишь, оно где-то там, над или между домами, ты о нем забываешь. Здесь оно все время с тобой, оно везде, поминутно, напоминает о себе — то голубым своим фоном для сияющего белым музея, то отражаясь в озере или просвечивая сквозь багрово-золотой убор австралийской осени, то розовея грядой вечерних облаков. Небо везде. И воздух немислимой прозрачности, и дышится легко, как в поле, как в степи.

Улиц в Канберре нет — аллеи. Домов не видно, они тонут в зелени. Только в центре — что-то торговое, магазинное, гостиничное. Ну, и — столица есть столица — парламент, что-то еще символизирующее порядок и власть, Национальная библиотека, обелиск Анзаку — армии, американо-австралийской военной дружбе. А вокруг гектары зеленых газонов и опять же небо.



А где же люди живут? Они здесь не живут, они здесь работают. А живут неподалеку, на периферии города или в городах-сателлитах — Воден, Бельконен, Вестен Крик, Таггеранонг. И всего-то их 250 тысяч, чуть больше, чем в Женеве или Умани.

Я люблю Нью-Йорк, люблю Манхэттен, мне нравятся небоскребы, они красивы, но как хорошо, когда их нет. В Канберре их нет — небо, воздух и кругом холмы.

Хотел бы я жить в Канберре? Нет, жить не хотел бы. Аллеи прекрасны, дышится легко, любишь молодым месяцем, а чтоб до первого кафе дойти /да еще найти его/ или до книжного магазина — нет, в Париже это куда проще. Так что, останусь-ка я жить в Париже. Он вне конкурса.

Города в Австралии необъятны. Жители Мельбурна и Сиднея, каждый о своем городе, говорят, что он второй в мире по занимаемой площади после Лос-Анджелеса. Этот последний я видел только с воздуха. Самолет летел над ним минут двадцать, если не больше. Уныло до умопомрачения. Шахматная доска из шестидесяти четырех или шестисот сорока тысяч клеток и в каждой клетке шестьдесят четыре или шестьсот сорок особняков. Внутри, очевидно, шик, комфорт, сверху тоска собачья. Над Мельбурном я тоже летел. Тоже минут двадцать. Но то было вечером, море огней, красиво.

Все города в Австралии — это десятка два-три небоскребов в центре — сити, остальное домики в садах, с обязательным палисадничком, гаражом. Удивительно, неправдоподобно тихо. Вьются винограды, плющи, во дворах выращиваются кактусы, сохнет белье, кое у кого бассейны. У всех машины — расстояние роли не играет.

Улиц в европейском смысле — прижатые друг к другу дома с фасадом на улицу — в Австралии нет. Либо небоскребы, конторы, оффисы, либо особнячки, расползшиеся до горизонта. Вот в них-то и вся прелесть. Они — лицо Австралии. Очень симпатичное, с другим не спутаешь. Причина этому — веранда.

Веранда — это мое детство. Именно на ней, в Ворзеле, на даче у друзей, валялся я в дождливые дни на раскладушке и глотал Жюль Верна и Буссенара. Думаю, потому-то и австралийская меня умилила.

Маленькие города вдоль дорог — сплошь веранды. Первый этаж галерея, магазины, второй для собственного пользования. Импортировались они сюда, со своими сплошь в узорах металлическими перилами и изящными, тоненькими коринфскими колонками, из Испании и Португалии, через их колонии, Вест-Индию, Бразилию. Красиво и удобно — в жару и дождь. Первая из веранд появилась в 1780 году, в доме генерал-губернатора Роберта Росса. С его легкой руки украсила всю Австралию.

Особенно хороши ранние, начала века. В одном из таких домов я был — в Лэнионе, недалеко от Канберры. Парк, столетние эвкалипты или что-то подобное им, и среди них — барский дом. Простой, одноэтажный, а вокруг терраса с натертым до ослепительного блеска паркетом. Очевидно, по вечерам здесь пили чай или прогуливались в ненастную погоду. Патриархальному этому стилю англичане дали название Colonial Georgian Style. В нем благородная простота и изысканность. В таком доме приятно жить. Сейчас в нем музей. Кроме меня посетил его и американский президент Линдон Джонсон и подарил, а может и посадил, два дерева, какие именно, не знаю, но, безусловно, не менее прекрасные, чем сам дом...

Не знаю, как другие, а я с возрастом становлюсь все более и более консервативным. В искусстве, во всяком случае. Молодость прошла под знаком французов — Манэ, Ван-Гог, Матисс, Гоген. Последнему пытался даже подражать. Модные сейчас Кандинский и Малевич задели, но не больше. В архитектуре, я уже говорил, кумиром был Корбюзье. Сейчас новаторство меня скорее раздражает, душа просит покоя, и если б можно было его где-то обрести, я предпочел бы не в стеклянных стенах современных вилл, а среди колонн

старосветского русского помещичьего дома. Того самого добротного ампира, со львами у въезда, с липовой аллеей. Мечте этой не суждено осуществиться, что поделаешь, но вспомнил я этот дом по совсем другой причине.

Консерватизм консерватизмом, но вот в Сиднее, проплывая на своем вечернем парходике мимо красиво отражающегося в водах залива знаменитого на весь мир оперного театра и глядя на этих, по чьему-то очень меткому определению, совокупляющихся устриц, я не пожимал плечами, наоборот, смотрел во все глаза и несчетное количество раз щелкал фотоаппаратом.

В чем же дело?

С юных еще лет, с дней увлечения Корбюзье, привык я, что внешние очертания здания в какой-то степени соответствует тому, что находится внутри. Наползающие друг на друга устричные скорлупы театра, — а видел я его только на картинках, — я объяснял себе какими-то акустическими требованиями, сложным замыслом архитектора.

— Что ж там внутри? — первое, что я спросил, попав в Сидней.

И меня повели внутрь. Там оказалось три зала — оперный, концертный и кино. Три весьма приличных; хорошо оформленных зала, но к совокупляющимся устрицам никакого, ну, ни малейшего отношения не имеющие. Акустика акустикой, а устрицы устрицами. Чистейшей воды обман, декорация, бред... За такое нам в институте ставили двойку.

Говорят, история со строительством сопровождалась каким-то скандалом. Детали его мне неизвестны, но, по рассказам, автор проекта, какой-то датчанин, представил чертежи только внешнего оформления, без всякой начинки. От него что-то начали требовать, он уперся, заупрямился и завершал проект кто-то другой. Архитектор обиделся и даже на открытие не приехал, хотя церемонию проводила сама королева.

Так и стоит знаменитый театр, отражаясь в водах залива, олицетворением архитектурной нелепости, привлекая туристов со всего мира. Количество потраченной на него фотопленки, думаю, побило все рекорды. Даже я, консерватор

и поклонник русского ампира, привез домой две катушки этого столь притягательного архитектурного абсурда.

Австралия, конечно, не города. Чтоб сказать, я был в Австралии, я знаю ее, приезжому недостаточно кататься на парходике по Сиднейскому заливу или даже, как я, полетать в двухместном самолетике "Чесна" над Канберрой — среди университетских профессоров нашлась летчица-любительница, по имени Маргарита, которая и совершила со мной два незабываемых круга над столицей Австралии. И проехаться в машине от Аделаиды до Мельбурна, а потом по Виктории и Новому Южному Уэллсу или окунуться в волны Индийского океана и задумчиво побродить по пустынному пляжу, собирая водоросли — этого тоже мало.

Надо побывать в буше, австралийских джунглях, и если не верхом, то хотя бы в "Ленд-ровере" пересечь пустыню, — ведь Австралия в основном пустыня, — проехать сквозь центральную ее часть, поохотиться на кенгуру — но я не охотник! — тогда выпить хотя бы свои сто грамм с ребятами, стригальями овец, или, если не выпить, то хотя бы пообщаться с аборигенами Севера.

Мне этого не удалось. Уставал я не от верховой езды или бросания бумеранга, а от своих собственных выступлений в студенческих аудиториях или масонских клубах /полное разочарование — ожидал таинственности, полумрака, а тут те, что сдаются под всякие мероприятия, мало чем отличаются от какого-нибудь киевского клуба 4-й обувной фабрики, только вместо Брежнева портрет королевы на стенке/. Уставал от приемов, встреч, обедов с членами парламента /как же, обязательно надо!/, а потом, ничего не понимая, следишь якобы за происходящей дискуссией в полукруглом зале с дубовыми панелями, где секретари и какие-то чины в завитых париках, а сам борешься со сном. И от самого себя уставал — как ни варьировал, как ни разнообразил, а все об одном и том же, каждый день, а то и два раза — утром и вечером.

Но грех роптать. Было и свободное время. Побродил все же, если не по бушу, то по Мельбурну и по Сиднею. Даже один.

Люблю бесцельные прогулки. По незнакомому городу особенно. Идешь, куда глаза глядят, сворачиваешь направо, налево. Заходишь в магазины. Книжные. Походишь вдоль полок, полистаешь книги — ну, до чего ж, роскошно издают — поглядишь альбомы страны, в которой находишься, поймешь, что все твои фотоупражнения детский лепет по сравнению с этими ракурсами, освещенными, панорамами на две страницы, посмотришь под конец цену, проглотишь слюну и пойдешь дальше. Направо, налево, прямо, площадь посередине памятник. Вынимаешь из кармана "Минольту-110" и щелкаешь. Спрашивается — зачем? Ответа нет. Вернувшись из поездки, дрожащими руками вываливаешь на прилавок магазина "Филлипс", где тебе проявляют и печатают, ворох крохотных кассет и боишься даже думать, во сколько это обойдется...

Так и по Сиднею шатался. Направо, налево, щелк-щелк. От витрины к витрине. Среди небоскребов. Таких же, как везде, шикарных, сияющих.. Потом на молниеносном лифте куда-то наверх, и Сидней под тобою. Ах, залив, ну и залив! Почти сан-францисский. И тысячи яхт. Сегодня воскресенье — снуют, скользят, надув желтые, красные, полосатые паруса, не задевая почему-то друг друга, сваливаясь набок, купая паруса. Еще одна катушка. Чашечка кофе во французском кафе с почти парижскими круасанами и опять направо, налево, щелк-щелк... Кончается маршрут под мостом, тем самым, которым так гордятся сиднейцы /почему-то все гордятся своими мостами, даже киевляне своим имени Патона, удивительно никаким, зато с патоновскими швами вместо заклепок/. Под береговым устоем травка. Растягиваюсь. Ноги гудят. Вечереет. Проходит туристский лайнер на Фиджи. Сияет огнями. Подсветили и театр. Вынимаю только что купленные глянцевые открытки с его изображением и пишу во все концы света: "Привет из Сиднея! Знаете ли вы, что такое Сидней? Нет, вы не знаете, что такое Сидней...

Он расположен под 33° 51' ю. ш. и 151° 12' в. д. и в 1890 году в нем жило 241211 человек, а сейчас один или два миллиона. Среди них пять тысяч русских, я 5001-й... Ну и т. д.

Меня подзывают к телевизору, хотя знают, что я его терпеть не могу. "Оторвитесь на минутку от своего писания. Посмотрите, как карабкаются на Мон-Блан!" Трое ярко-красных альпинистов карабкаются по совершенно отвесной стене. Раскачиваются на канатах, забивают в расселины какие-то штыри, подтягиваются, упираются шипами в стенку и так метр за метром. Страшно... А им нет, хоть бы хны. И еще тюки за собой тащат. Кругом горы, снег. Снимают, по-видимому, с вертолета. И так шесть дней. Последний кадр — они на вершине колючего пика. Повернуться там негде, а они пляшут. Крупным планом лица, смеющиеся, красные, обветренные. Один в очках. А если разобраться? Кто-то из циников спрашивает: "Интересно, а как они на этих своих веревках нужду справляют?"

Героические ребята! Вот о ком, о чем писать надо. Кстати, в Австралии тоже свои Альпы есть. А я про свеженькие круасаны и книжные магазины...

Возвращаюсь к своему "писанию".

Что-то не клеится...

Перед глазами стоят эти смелые, отчаянные ребята. Немножко завидуешь им. Но и экипировка какая! Все эти тросы, канаты, ботинки с шипами, непрopusкающие влагу и холод сверхнейлоновые куртки. Вспоминаю, как мы на Эльбрус поднимались. В резиновых тапочках, в двух парах нитяных, штопаных-перештопаных носков, в сшитых в последнюю минуту из одеял шлемах и рукавицах, в бумазейных лыжных курточках и чресла, обмотанные газетами. /Потом, этот способ согреться я применил в лютую первую зиму войны, в запасном батальоне на Волге./ На Эльбрусе, в далеком 33-м году, мы тоже чувствовали себя героями. Я написал даже весьма патетический очерк "Покоренный старик", который, почему-то, нигде не напечатали.

Писать об альпинистах? Вероятно надо, кому-то интересно. Вот швейцарские альпинисты взобрались недавно на Анапурну-3, восьмитысячник в Гималаях. Событие! Незаурядное. Герои...

А другие альпинисты? Не в Альпах, нет в других горах... Ведь ничего не знаешь об этой войне, позорной, скрытой от всех, войне без героев, где наши рядовые необученные /а может, уже и обученные/ стреляют, гибнут, матерятся, пьют, торгуют "Калашниковыми".

Кто об этом напишет? Веселый выпивоха Тимур Гайдар пишет о любви и дружбе, а ведь все видит, все знает... Василия Быкова не пошлют.

Прошедшая война была главным в нашей жизни. О ней мы писали. Кто как мог. А что сейчас главное? И где оно? В Кабуле? На окраине города Горького? В Белом Доме? На Старой площади? В Потье? В памяти? В сердце? Или может быть просто жизнь? Коммуналка на Сивцевом Вражке? Алтайская глухая деревня?

Перечитываю Шукшина. Да, перечитываю. Не со всяким это у меня получается, а его перечитываю. Не торопясь. Рассказик-два, отложу. Вечером еще два-три, опять отложу. Не гоня.

Писатель! И никаких эпитетов, прилагательных. Ни одного рассказа просто так, каждый заставляет думать. Каждый!

"Сапожки". Я не читал этого рассказа. Прочел рецензию на него в "Советской культуре". Вернее — на то, как читает его Сергей Юрский. Стал искать в своих книгах, не нашел, наткнулся на "Калину красную", прочитал и захотелось вдруг написать о Шукшине — мы когда-то дружили. И написал. Потом уже, два года, спустя услышал-таки рассказ в исполнении Юрского.

Помню, как слушал запись. О чем рассказ? О главном? А может, о пустяках? Увидел шоферюга в магазине сапожки. Очень ему понравились, решил купить жене. Долго колебался, купил, принес жене, а они оказались малы. Вот и весь рассказ.

Слушал его, не отрываясь, затаив дыхание. Юрский читает проникновенно и удивительно точно. Боялся, что кто-нибудь

помешает, прервет. Когда зазвонил телефон, захлопал руками: "Не бери, не бери! Ну его!" Переживал все перипетии покупки, злился на продавщицу, на ребят в гараже, с замиранием сердца следил за примеркой этих сапожек — налезут или не налезут... А чем закончился рассказ? Ни один финал, ни Дюма, ни Конан-Дойля, не ждал с таким волнением.

Кончается рассказ светло, не часто у Шукшина. "Нет, не в сапожках дело, а в том, что... Ничего. Хорошо". А рассказ-то страшенький. И Запад никогда не поймет его. Никогда. Пока сами Дюпоны и Смиты — ней дай Бог! — не превратятся в Сергея Духонина, шоферюгу.

Читаю, перечитываю Шукшина. И радуюсь. И печалюсь. Печалюсь его печалью. Печалюсь, что нет его рядом с нами. Русского писателя Василия Шукшина... Васи Шукшина.

И вот, оказывается, есть на свете люди, которые считают его "промежуточным" /словечко-то какое!/ писателем. И поучают еще его. "Нет, уж пусть лучше они остаются, эти промежуточные, в избяных светелках и на пахучих заливных лугах и не лезут в следовательские кабинеты и на выборные собрания". И это о Шукшине — пусть не лезет! О Шукшине, для которого все это боль, терзания, муки, от его рассказов о деревне /у того же автора "рисует яркие жанровые сценки"/ мурашки по коже пробегают /"Охота жить", хотя бы/. Да, никто из его героев не борется с советской властью, не кричит в пьяном виде "Брежнев дерьмо!", но нужно потерять последние остатки совести, чтоб позволить себе написать об этих самых "промежуточных" писателях, которыми мы все гордимся, и о Шукшине в частности, что "если он действительно честный писатель, он должен помнить, что его молодые собратья по перу, отказывающиеся лгать, работают кочегарами, дворниками, грузчиками..." и тыкать им в лицо, укорять, напоминать о том, дескать, что "целая литература загнана в подполье, что все это, как-никак, налагает обязательство и на него". И пишет это человек, который знает как будто условия советской жизни, — Ю. Мальцев, живущий не в колхозе "Путь коммунизма", а в тепле и холе то ли миланской, то ли туринской своей квартиры.

Вот на какие мысли натолкнули меня три французских альпиниста, взбиравшиеся на Мон-Блан.

Ну, а мы, живущие в тепле и холе? Какие на нас накладывает обязательство сознание, что целая литература загнана в подполье и что собратья по перу работают кочегарами, дворниками, грузчиками? Объявить голодовку? Бить стекла в советском посольстве или, на худой конец, в агентстве "Аэрофлота"? Или учить Валентина Распутина, как надо писать? Почему не пишешь о лагерях, не вызываешь на поединок КГБ? Боишься? Хочешь по границам разъезжать? По разным там радио и телевидениям выступать? Не выступал? Неважно. Раз пишешь и тебя печатают, значит, любит тебя советская власть. Не любила б, посадила. А вот не сажает. Подозрительно. Стыдился бы...

Нет, не будем мы учить Распутина ничему. И остальных "промежуточных" тоже. Пусть пишут, как пишут. Честь им и слава! А автору этого постыдного, обидного определения, вот ему бы постыдиться...

Хорошо, а мы все-таки? Мы, избравшие свободу, живущие в тепле и холе? Мы, избавившиеся от ЛИТа и могущие писать, что хотим? А вот и не все. О друзьях, живущих "там", писать боимся. Подведем. И осудят нас за это. Забыл, мол, страну, где жил, ее порядки. И просят не писать. И не пишешь. А хочется... Зато звонишь. Благо, сейчас автомат и телефонная барышня не пугает своим: "Будете говорить с Парижем".

Выпьешь для смелости пару грамм и набираешь Москву.

— Слушаю, — знакомый голос.

— Привет!

— Привет...

— Не узнаешь, что ли?

— Нет, — сдержанно-настороженно.

— Ай-ай-ай! Забыть так скоро...

— Простите, а кто говорит?..

— Кто говорит... Последний раз, когда выпивали, а было это шесть лет тому назад, ты сам...

— Господи! Неужели...

— Ужели.

— Откуда ж ты говоришь?

— С Центрального телеграфа.

— Я серьезно спрашиваю.

— Ей-Богу! Забежал из Шереметьева. Пустили. На часок. Обзваниваю друзей. Лечу вот из Непала.

— Из Непала?

— Из Непала. Катманду.

— Катманду... Что ж ты там делал?

— А сейчас модно покорять Анапурну-3.

— Это что гора?

— Очень даже высокая. Семь тысяч с чем-то.

— Господи, и ты на нее...

— Нет, на нее не получилось. Запил. У дяди Васи. Есть такой в Катманду. Русский ресторан держит. С отличной водкой.

— Слушай, хватит трепаться.

— Хватит... Расскажи тогда о себе.

Вот так и поговоришь. И на душе станет легче. Жив, здоров, значит. Не очень весел, правда. И недогадлив — поверил-таки в Катманду и Центральный телеграф. И от воспоминания об этом разговоре тоже становится чуть веселее. И нет уже неловкости, что пишешь не о главном, а о собственной, так не похожей на прежнюю, жизни. Ведь и в ней было что-то, о чем не стыдно и вспомнить. И даже — не боюсь этого слова — типичное.

В тепле и холе...

В самолете. В машине. В поезде. Встречаясь с юностью, Ниной Михайловной, Хорь и Калинычем. Со студентами — вы за бойкот или против? С писателями, путающими Сталинград с Ленинградом — "Как вы перенесли ленинградскую блокаду?" На пасхальной заутрене в Мельбурне. На Бальмораль-бич, сиднейском пляже, не страшась акул. Снимаясь в обнимку с коалой, маленькой, тепленькой, такой симпатиченькой, нам бы ее характер. Не заводясь с малость подвыпившим власовцем — "Дали б мы вам дрозда!" Роясь в книгах, в старых журналах не только этой, но и той еще войны. Марна, Сомма, Верден. В том же Вердене — пятнадцать

тысяч белых крестов у развалин форта Дуамон. Вспоминая Сталинград. И товарища Подгорного, перебивающего тебя: "Сталинград Сталинградом, но кто вам дал право клеветать на свою родину?" Вспоминая, вспоминая... Не забывая... Напоминая... Рассказывая. Людям, полжизни прожившим в Китае, о том, что кроме Шолохова есть у нас и Войнович, и Лидия Чуковская. С советскими морячками в портовом кабаке о Высоцком — "О! Кто ж его не знает..." И опять о бойкоте — был против, теперь — за!

В тепле и холе... В "Боинге-747". В экспрессе Токио—Осака — 300 километров в час. В мельбурнском дачном неторопливом, где нельзя курить, в Эльсеме, к Нине Михайловне. Порыться еще в Надсоне с его жертвенниками и арфами, в забытых уже Вересаевых и Пантелеймонах Романовых, в старых "Аполлонах" /и в Сталинграде, в землянке, было у меня два номера за 1911 год, год моего рождения/, "Столице и усадьбе"...

В тепле и холе? Нет — и в непроходимой боли... Боли за тех, кто еще там. И не только в лагерях, в тюрьмах, в ссылках, в Горьком, но и тех, кто выполняет или не выполняет план, пьет водку /на 50% больше, чем при прогнившем царском режиме!\*/, иногда и молоко, которое после десяти утра и не достанешь /в Москве, Киеве — а в Ярославле?/, за тех, кто пишет /за себя и за других/ диссертации, кто без пол-литра не починит даже крана на кухне и, во всяком случае, не может прочесть не то что ГУЛага, но даже Вл. Набокова /я читал по секрету, дали на одну ночь/ — боли за всех тех, кем был когда-то и я, а теперь осталось 260 миллионов... А в самолете "Кантас", на даче в Эльсеме — тепло и холя... И думы, думы, думы...

---

\* Откуда такая идеализация? Что со мной случилось? Сам как-то в "Литгазете" прочел — бывает и такое! — что за последнее тридцатилетие количество потребляемой на душу населения водки увеличилось в пять раз! А я о каких-то 50%... Каюсь. Ввел в заблуждение. Прошу прощения. В. Н.

И вот опять самолет. Не опоздать бы. В Окленд. Новая Зеландия.

Не знаю, почему, но меня всегда манила Новая Зеландия. Объяснить не могу. То ли дальность расстояния, то ли слышал где-то краем уха об экономическом сверхблагополучии и хотелось проверить, так ли это. Ну, и загадочные, неистребленные еще маори. Помню, как поразил меня в свое время рассказ одного гляциолога /специалиста по льдам/, вернувшегося из Антарктики и по дороге заскочившего в Новую Зеландию.

— В Новую Зеландию? — ахнул я.

— В Новую Зеландию.

— Вот так вот, запросто?

— Запросто... Пригласили антарктические друзья. Недалеко от нас новозеландский лагерь был.

Почему-то многомесячное пребывание у самого Южного полюса меня куда меньше поразило, чем трехдневный визит в Новую Зеландию.

— Ну и как там?

— Как везде, — улыбнулся приятель.

Так и я отвечаю теперь — как везде...

Пробыл-то я там, в этом самом "как везде", не многим больше, чем мой приятель, всего неделю. Но зато был, если не первым, то все же вторым российским писателем, посетившим эти сверхъюжные острова. Первым был, как ни странно, не Евтушенко, а Наровчатов. /Говорили, что кто-то еще приезжал, но никак не могли вспомнить фамилию./

Пребывание наше с Наровчатовым сенсацией не стало. Наровчатова, приехавшего в порядке какого-то обмена — потому что он просто молчал и открывал рот только, чтоб осведомиться о ценах при покупке чего-то шерстяного для жены. Мое же, не знаю почему. Говорил я, в противоположность редактору "Нового мира", предостаточно, но, очевидно, наши диссидентские дела не так-то уж волнуют новозеландцев. Не докатились до них наши тревоги. А то, что дока-

тывается, вызывает довольно неожиданную реакцию. Мне рассказывали, что один из членов парламента, кажется, консерватор, потребовал от правительства наложить эмбарго на экспорт шерсти в Советский Союз. Почему? А потому, что из этой шерсти делают свитера для советских солдат в Афганистане!!! Ничего себе? То, что она дальше руководящих жен не идет, им и в голову прийти не может.

— Ну, как там, все же, в Новой Зеландии?

— Как везде, — отвечаю я. — Те же супермаркеты — все есть, кроме, разве что, русского кваса /кстати, походи найди его в нашем "Гастрономе"/, те же "Тайоты" и "Датсуны" /даже больше, Япония рядом/, те же пробки в "часы пик", те же "Плэй-бои", тот же "Честерфильд" и "Кемэл", та же пленка "Кодак" /нет дыры в тех джунглях Камеруна или Соломоновых островов, где б ее не было, только у нас фоторепортерам под расписку и по знакомству/, ну, и тот же английский язык, навсегда и отовсюду вытеснивший прекрасный, красивейший язык — язык королей, король языков — французский. Ни в одном аэропорту тебя не поймут — только английский.

Да, так же, как и везде! Как и Австралия — сытая, благополучная, благоденствующая страна. Ну, и так уж положено в этих сытых странах, о чем-то спорят, что-то не поделили между собой консерваторы с лейбористами. Где-то из подворотни тявкают коммунисты — раз-два и обчелся.

Одним из главных вопросов на всех моих выступлениях, если не считать обязательного о бойкоте Олимпиады, был — как я отношусь к изгнанию советского посла, пойманного на горячем, в момент передачи им солидной суммы представителю компартии? Мое одобрение встречалось всегда аплодисментами. Перед самым отъездом я узнал еще об одном выдворении. На этот раз дамы, советницы довольно высокого ранга — стибрила что-то в супермаркете. Кажется, пару мотков шерсти — советские дамы очень на них падки.

Я не видел советского посольства в Веллингтоне — мне не показывали, — в Канберре же я его зачем-то даже сфотографировал. Вернее, крышу и флаг, виднеющиеся из-за забора. Это поразительно — до чего неприветливы здания наших

посольств. Глянешь на другие — в той же Канберре — в каждое хочется зайти. Среди лужаек, на холмах, видные издали, а индонезийское окружено сотнею будд, очевидно, из разряда доброжелательных, советское же — за забором, перед ним будка, в ней часовая. В Париже еще хуже. На смену старому, еще царскому на рю Гренель, отгрохали сейчас нечто мрачное и отталкивающее на бульваре Ланн. Циклопический бункер, готовый выдержать любую осаду. Так и кажется, что из каждого окна глядит на тебя пулемет. Вот такое бы американцам в Тегеране.

Итак — все, как у всех. Нет, не все. Чтоб это понять, надо сесть в самолет. А я, прилетев из Мельбурна в Окленд поздно вечером, раненько утром летел уже в Данидин. Новая Зеландия — это два крупных, не считая мелких островов — Северный и Южный. Так вот, Окленд на севере Северного, а Данидин на юге Южного — иными словами, в первый же день я пролетел над всей страной.

Немыслимо зеленая. Зеленеет Англии. Много дождей, влаги. В Австралии жара, здесь дождь. И наоборот. Мне повезло — я приехал после дождей. Они промыли воздух. Зеленые холмы, стада овец, дальние горы, пласты облаков над долинами /по-маорийски Новая Зеландия — Страна облаков/ — все четкое, ясное, казалось даже, что видишь море за хребтами.

Данидяне — жители города Данидин — скромно хвастаются, что их университет самый южный в мире. Ну что ж, а я самый южный русский, читавший в нем лекцию. После лекции обед, камин и ночевка в славной семье Филиппа Тэмпля, писателя и изысканного фотографа. Листая его книги, я завидовал ему и тем, кто карабкался по ледникам юга, до которых я так и не добрался.

Утром я летел уже на север. Через Крейсчерч /на ужине, в кругу русских, сквозь Олимпиаду и Афганистан продирался со своими литературными новостями / — в Веллингтон, столицу.

В силу непонятных мне обстоятельств никаких университетов в Веллингтоне у меня не было, зато запланирован

был оперный театр. Господи, когда ж я был в последний раз в опере? Вспоминал, вспоминал и вспомнил — без малого двадцать лет назад — "Фауст" в парижской Гранд-Опера. Нужно же — забраться на край света, чтоб слушать Пуччини, "Богему". Мы со Степой малость всхрипнули, но в общем остались довольны. И музыкой, и актерами, и маленьким уютным залом с золочеными ложами и публикой, которая заполнила его до отказа. А я-то думал, что телевизор подорвал все планы зрелищных предприятий.

Степа — самое для меня примечательное на этих далеких островах Южного полушария. Степа — он же Стив Мардер — американец, уроженец Филадельфии. А жена русская, Галя. Я у них провел две ночи и три дня. Конечно же угощали борщом /по возможности, везде в этих краях угощают борщом — "А у нас будет борщ. Вы любите?"/. Немножко выпили. Говорит по-русски Стив куда лучше, чем Галя. Но это не так уж и удивительно — из России ее увезли совсем маленькой, шаталась потом по свету — но вот то, что все непристойные и матерные русские выражения Стив знает куда лучше и больше, чем я — это повергло меня в изумление. Оказывается, тема его ученой диссертации "Русская блатная музыка" /музыка это не музыка, просто язык, оказывается/. У Стива гибель книг на эту тему, словарей, исследований, трудов о русской каторге, современной "фене". Мне стало стыдно своей отсталости, и только словом "поц", которое он не знал, хотя оно давно уже обрело свое равноправие среди коротких, выразительных русских слов — я как-то реабилитировался.

Стив чудный парень, и я его полюбил, жалею, что мало у них пробыл — очкастый, застенчивый. Очень волновался, переводя выступление заезжего гостя на веллингтонском телевидении — вспотел, но перевел отлично. Любит все русское, много читал, но как и где применять блатной его энциклопедизм, ума не приложу. Разве что радовать меня и советских морячков, нечасто заходящих в Веллингтон? Не жену же отчитывать.

Может быть, благодаря Стиву и Гале полюбился мне Веллингтон. А может, лезущие в гору домики, серпантины гористых улиц и дорог, порт, опять же залив, восходящее над ним солнце. Не знаю. Но уезжать не хотелось.

Рано утречком Стив усадил меня в автобус Веллингтон-Окленд. Мы обнялись и расстались. Я рад, что смог потом из Парижа послать ему подарок — "Москва-Петушки" В. Ерофеева. Это он поймет.

От Веллингтона до Окленда рейсовым автобусом одиннадцать часов. Я был не то что обижен, но несколько озадачен — почему не самолетом? Но ей-Богу ж, не прогадал. Нет, это не наш какой-нибудь Киев-Житомир — давка, мат, чудовищные тюки, озверелые лица торговков. Просторный, с громадными зеркальными стеклами автокар.. Я сидел на месте №1 и все одиннадцать часов не отрывался от сплошного стекла спереди. Не спал, не читал — смотрел.

То матовая, то блестящая, немислимо гладкая с белой полосой посередине, с зарослями золотистого ковыля по бокам и дальними вулканами неслась мне навстречу дорога.

И ничем она, ново-зеландская, не отличалась от других. Разве что американские чуть пошире, западногерманские чуть чище и глаже, на французских и испанских встречаются иногда и заплаты, а на второразрядных дорогах даже нечто вроде выбоин и ухабов...

Ухабы...

Дорога! Ох, дорога! — каждый метр с боя...

Владимир Тендряков... "Ухабы". Одна из лучших его вещей.

"Вася Дергачев хорошо знал ее капризы. Эту лужу, на вид мелкую, с торчащими из кофейной воды бугристыми хребтами глины, нельзя брать с разгона. В нее нужно мягко, бережно, как ребенка в теплую ванну, спустить машину, проехать с нежностью. На развороченный вкривь и вкось, со вздыбленными рваными волнами густо замешанной грязи кусок дороги следует набрасываться с яростным разгоном, иначе застрянешь на середине, и машина, сердито завывая,



выбрасывая из под колес ошметки грязи, начнет медленно оседать сантиметр за сантиметром, пока не сядет на диффер..."

Поражаешься, не перестаешь поражаться... Месяцами кружатся вокруг Земли /самочувствие прекрасное!/ героикосмонавты, какой-то там год скучает на Луне луноход, ракеты одна за другой за тысячи километров бухаются в акватории, а дороги...

Один весьма приличный и прогрессивный западный немец как-то признался:

— Что там ни говори, — параноик, убийца, — а ведь все-таки ему мы обязаны нашими автострадами и "Фольксвагенами"...

— Как мы своему — лучшим в мире метро, — парировал я.

И мы, несясь со скоростью сто пятьдесят километров в час, стали превозносить достоинства своих диктаторов. Один все же любил поглаживать кошечек, другой был обворожителен со своими секретаршами, третий писал трогательные письма своей дочери, и метро, действительно, самое чистое и бесперебойное в мире... Эх, взялся бы он за дороги.

Нет, этого никогда не будет! Никто не возьмется. Не нужны дороги. Хорошие. Торопитесь куда-то, пользуйтесь услугами "Аэрофлота". Дорога, машина — это свобода. Сел и поехал — не углядишь. Куда? Зачем? Сиди дома, смотри телевизор, на худой конец, пей — государству доход, тебе иллюзия свободы...

Ох, дорога! Каждый метр с боя!

Где-то посреди пути в Окленд нас пригласили в ресторан. На длинном столе аккуратно разложено было все, о чем только можно мечтать. Не буду перечислять всех осетрин и лососей, но, подойдя к столу, я со щемлящей грустью представил себе того самого везде и всюду воспетого просто-советского человека перед всем этим изобилием нежно-розового, золотистого, хрустящего, поджаренного, тающего во рту. Господи, будет ли у нас когда-нибудь, ну, не лососина, а просто-напросто хлеб с колбасой встречать путника где-нибудь на остановке между Киевом и Житомиром или Конотопом? Ну хотя бы в Нежине... Какие огурчики там

были, прославленные, нежинские — вдоль поезда, на перроне ряды баб с ведрами: "берить свіженьки, малосольні..."

В Окленде я был уже на последнем издыхании. Меня, видимо, пожалели, выступлениями не утомляли, было только два. Зато возили на какие-то горячие источники, где по горло в теплой водичке обсуждали все те же афганские события, где-то на травке перекусили, вечером попили чайку и мое ново-зеландское турне закончилось.

Через день я летел уже из Мельбурна в Лондон.

Двадцать пять часов лету располагают к размышлениям. Почитаешь, подремлешь, полюбуешься в иллюминатор на облака, сверкающее море, пески аравийской пустыни и предаешься размышлениям...

Два месяца вдали от всего. От домашних забот, телефонов, эмигрантских дряг. Два месяца других забот, других пейзажей, лиц, событий, отношений.

На прощальном вечере в Мельбурне — Гога с Наташей, женой, весь день не отходили от плиты, жарили отбивные, — я говорил что-то о завязавшейся дружбе. Так положено говорить на банкете, устроенном в твою честь, но ей-Богу же, я говорил от чистого сердца.

...Но это все русские. Где же австралийцы? Истинные, коренные?

Скажем прямо — не густо.

Можно было бы, конечно, солгать. Как большинство советских журналистов:

...К нам подошел прилично одетый, с печальными глазами старик. "Джентльмены, — сказал он, — если не трудно, дайте полдоллара. Я всю жизнь проработал, а сейчас, вот, придется..." Ему трудно было говорить. Мы дали ему пять долларов, он поблагодарил и ушел неуверенной шаркающей походкой. Мы смотрели ему вслед и думали...

Нет, никто ко мне не подходил, полдоллара не просил, а в душу истинного, коренного австралийца так и не заглянул. Язык, природная застенчивость, отсутствие русских "стаграмм", растапливающих любой лед. Но те немногие, с кото-

рыми столкнулся, расположили к себе. Ни здесь, ни в Новой Зеландии, ни до этого на Гавайях, в Америке, я не столкнулся ни с чувством какого-либо превосходства над другими, ни с национальной ограниченностью, спесью, бахвальством, всезнайством — наоборот: открытость и простота. Где-то я ощутил, может быть, недостаток любопытства — что ж, грех, но не такой уж большой — но чего начисто нет, это озлобленности. Той самой, нашей, в автобусе, троллейбусе, гастрономе, в очереди. Нету — и все!

Итог.

Дружба, бхай-бхай? Между кем и кем? На собраниях общества "СССР — Австралия"?

Кайл Вильсон, студент из Канберры, здоровый как бык, не без ужаса, но с восторгом вспоминая свои московские возлияния, говорил мне.

— Бойкот, бойкот! Все вы за бойкот. И я вроде тоже. Но ведь нам так нужно общаться. Я не знаю, кто кому больше нужен. Они, московские ребята, мне или я им? Мне с ними интересно. Жмутся, что-то недоговаривают, озираются, а через день, два, неделку, да еще выпивши, вдруг раскрываются. И мы спорим всю ночь. И не боимся друг друга. Мне-то хорошо, бояться нечего, а им... Я понял, как им трудно, тяжело. Но чего-то они не понимают. А чего-то я. Надо общаться! Надо, надо, надо! А вы — бойкот! Не хочу я их бойкотировать. Хочу пить с ними водку — нет, не так много, как они, они каждый вечер хотят, а я нет, у меня утром голова болит, — и все-таки хочу. И потом по набережной. Песни петь... Как это? Я шагаю по Москве...

Милый мой Вильсон, как ты прав... И голова потом болит, а надо...

Нечто подобное, не слово в слово, но почти, говорил мне и Дональд Райан в Гонолулу. Молодой, но уже закончивший курс в университете, занимает какое-то положение, тоже не дурак пропустить свои сто грамм. В Москве уже бывал, мечтает повторить.

Дональд Райан... Дэвид Грант... Сусанна Андерсен... Элла Уайсуэл... Леня Игудесман... Сонг-Чан-Сунг... Ги Амарханаяган... Евгения Семеновна Гинзбург...

Но это уже не Австралия. Вернее, еще не Австралия. Это за три месяца до нее. Это Гавайи. Гавайские острова. Они же Сандвичевы. Там и Гонолулу, то самое, далекое, заманчивое, загадочное, на аэродроме которого я приземлился в час десять минут ночи 8 декабря 1979 года. Из Лондона, через Северный полюс, Гренландию, с пересадкой в Лос-Анжелесе.

Ночь. Пусто. Никто не встречает. Почему? Черт его знает. Телеграмму послал. Жарко. Здесь лето. А в руках еще и пальто, будь оно неладно. Телефонов нет. Только адрес — Ист-Вест Сентер, 1777, Ист-Вест Род, Гонолулу, Гавайи...

К тому же суббота. В кармане сто долларов — не густо. И это идиотское пальто еще.

Ладно, не пропаду.

И не пропал.

Апарт. Или "в сторону" на театральном языке.

Если вы кому-нибудь из нынешних русских парижан вздумаете рассказать о своей недавней поездке в Гонолулу, не удивляйтесь, когда собеседник ваш скромно отведет глаза и, ни о чем не спрашивая, заговорит о другом, не имеющем никакого отношения к Гавайским островам.

Феномен этот требует объяснения. Дело в том, что обычно, когда кто-нибудь из нас вечером переборщит и следующие два-три дня пребывает не в самой идеальной форме, жена переборщившего, отваживая друзей и посетителей, говорит, что муж, мол, прихворнул, у него легкий гриппок. И все деликатно умолкают.

Но вот однажды... Свадьба. В Париже. Русская. Много приглашенных. Среди них некая семья — жена, сын, жена сына, внук.

— А где же "сам"? — недоумевает мать невесты.

— Он в Гонолулу.

— Ага... — понимающе улыбается мать невесты. — Теперь это так называется.

И с ее легкой руки теперь это только ТАК и называется, Прошу учесть. Чтоб не попасть в просак. Рассказывайте уж лучше о своей поездке в Сингапур или на Багамские острова.

Знаете ли вы, где находится Рай земной? Не находится, а находился, поправят меня, и подсунут пятьдесят первый том все того же Брокгауза и Эфрона, зная, что я большой поклонник его. И там, ознакомившись со статьей "Рай", я узнаю, что "Рай земной. Рай сладости, насаженный самим Богом для первых людей, находится, по выражению Книги Бытия, "на востоке" /от того места, где написана эта книга, т. е., вероятно, Палестины/, в стране Эдемской".

Где же это она, страна Эдемская? Одни считают, что где-то между Тигром и Евфратом, другие между Евфратом и Гангом, третьи называют Сирию, Месопотамию и Халдею, но все вместе считают, что всемирный потоп смыл с лица земли первозданный Рай, совмещавший в себе все, что было прекрасно в первозданной природе.

Я стою на совершенно других позициях. Что там было и смыло в незапамятные времена, то ли в Сирии и Халдее, то ли на берегах Евфрата, не знаю, но то, что Рай земной существует и поныне и находится на Гавайских островах — знаю точно. Я там был, мед-пиво пил, по усам текло и в рот даже попало.

Как-то утром позвонил мне Владимир Максимов.

— Ты любишь путешествовать. Хочешь в Гонолулу?

Все во мне затрепетало.

— Спрашиваешь...

— Ну вот и лети.

— А что там?

— Какой-то съезд писательский, конференция. Приглашали меня, а я не могу. Вот и звоню тебе, не заменишь ли меня?

— Дорогу оплачивают?

— И дорогу, и командировочные, и за выступление отдельно.

Из дальнейшего выяснилось, что существует на нашей планете некий организм, именуемый Ист-Вест сентр, нечто,

объединяющее в себе высшее учебное заведение с научно-исследовательским институтом по проблемам Востока и Запада. Центр этот триедин — что-то в Сеуле, что-то в Коломбо /Цейлон/, что-то на Гавайях, в Гонолулу. Раз в два года в одном из этих городов созывается писательская конференция. Съезжаются со всех концов света представители разных литератур /кроме соцреалистической — разумеется/, знакомятся друг с другом, читают доклады, по вечерам коктейли, в выходные — экскурсии, поездки по острову. Переутомляться не разрешается — в два, а то и в двенадцать рабочий день заканчивается — гуляй, пляжся, загорай... Так и сказано было нам, участникам, человеком, фамилию которого мы только к концу конференции научились правильно и на одном дыхании произносить — Амираханаяган — симпатичным, бронзовым, всегда приветливым, улыбающимся цейлонцем, организатором и председателем нынешней конференции.

Так и чередовались дни. Один за другим. По утрам доклады — как трудно, мол, писателю на Западе, как многое ему мешает, — потом пляж, вечером через соломинку что-нибудь более или менее крепкое, закусывая одним из двадцати сортов гавайских ананасов или чем-нибудь не менее экзотическим. Ну, разве не рай?

В самом центре Тихого океана, на острове Оаху, у подножья Алмазной головы, я обнаружил все то, что так красиво рисовалось мне, когда я по каким-то причинам задумывался о земном Рае. Солнце, тепло, море, ласковый ветерок, пальмы немислимой стройности, "Sunset'ы" — закаты, равных по красоте которым нет в мире, бронзовые красавцы туземцы и туземки, ну, и та самая беззаботность, которой, как не было в свое время в Киеве и Москве, не обрел я сейчас и в Париже.

В шесть часов утра меня будили птички на громадном, с гроздьями неведомых цветов, дереве под моим окном. Струями прохладного мощного душа смывал остатки сна и, включив вентилятор /становилось уже жарко/, до открытия буфета погружался в книгу, о которой будет позже.

Потом, вместе со студентами всех оттенков кожи /жил я в их общежитии — дай Бог мне такой комфорт в киевской писательской квартире/ листал местную газету и, так как желание — лучший учитель языков, несмотря на скудное знание английского, понимал, что ничего хорошего с американскими заложниками не происходит.

В девять начинались заседания. Садился за парту, где указана была моя фамилия и, подперев голову рукой, делал вид, что внимательно слушаю очередного оратора — то ли американца, то ли австралийца, то ли пухлого узкоглазого южного корейца. Все до единого говорили по-английски, даже немец и поляк, единственные два участника конференции, с которыми я мог как-то объясняться. Хорст Бинек сидел в советском плену, а Тадеуш Новаковский, как все поляки, изучал когда-то русский в школе. С Сонг-Чанг-Сунг, по-парижски изящной кореяночкой, я тоже кое-как объяснялся — преподает французский в сеульском университете /очевидно и там на писательский гонорар не очень-то проживешь/. Увы, на международной этой конференции, кроме нее и еще одного англичанина, никто языка Корнелия и Расина не знал и свой доклад, который мне специально перевели в Париже на французский, я прочел по-русски. Переводил, и говорят хорошо, студент-русист, но мне все же было немного обидно, что я не смог покичиться своим парижским произношением...

К двенадцати, максимум к двум, все кончалось. Вскочил в четвертый номер автобуса, я устремлялся на пляж Уайкики.

У американца, того, которого принято называть средним, господствует мнение — на мой взгляд, глубоко ошибочное, — что Гавайи, Гонолулу, Уайкики — это банановый курорт, место отдыха и развлечений, некий вариант флоридского Майами или французского Сен-Тропез на Лазурном берегу.

Не спорю, обретенный мною под гавайскими широтами земной рай отдает, и довольно сильно, буржуазным душком. Шеренги небоскребов вдоль пляжей, шикарные отели, всякие там "Хилтоны" и "Холидей-Инны", дорогие рестораны, ночные клубы, игорные дома.

Конечно, уж эксплуатируют, кто-то на ком-то наживается, дети бедных родителей, как в диккенсовские времена, пускают слюнки перед рождественскими витринами и завидуют другим детям, у которых есть деньги, чтоб сняться вместе с обливающимся потом Дедом-Морозом у обвешанной игрушками елки, прилетевшей из Лос-Анджелеса или Сан-Франциско. Все это я знал, видел /скорее знал, чем видел/ и, признаюсь, не тужил. Но о самом главном я все же не сказал.

Во всех моих восхитительных прогулках, на всех пляжах Уайкики и других, поменьше, под сенью пальм, в том же Мак-Дональде или в соседнем кафе у самого синего моря, всегда и постоянно, утром, днем, вечером, сопутствовал мне один человек. И человеком этим была Евгения Семеновна Гинзбург.

В дорогу я взял с собой одну только книжку — вторую часть ее "Крутого маршрута".

Большинство из людей моего поколения считают, что прожили они если не самую легкую, то все-таки интересную жизнь. Много, мол, повидали, пережили, во многих событиях принимали участие, есть о чем рассказать, о чем вспомнить. И, не всегда замечая, что злоупотребляем этим, мы вспоминаем и рассказываем, рассказываем и вспоминаем. Кто за рюмкой, кто без нее, а кто и с пером в руке, для потомков, так сказать. Кто хуже, кто лучше, кто на что-то закрывая глаза и обходя острые углы, кого-то выгораживая и обвиняя других, а кто и просто слегка фантазируя. /Категорию сознательных лжецов, разумеется, я отбрасываю./ К Евгении Семеновне Гинзбург все эти мерки — хуже, лучше — не применимы. Она видела и запомнила все. Во всех деталях. Ничего не забыв. Много пересмотрев и переоценив в своей жизни. И написала обо всем этом — не боюсь своего определения — Великую книгу. Пишу с большой буквы, хотя в свое время мне крепко досталось за статью "Слова великие и простые", где я обрушился на первые, защищая последние. Книга Гинзбург — великая книга Жизни. Противоречивой, сложной,

немыслимо тяжелой, страшной, висевшей иногда на волоске и в то же время возвышенной и прекрасной. И эта жизнь пронзила меня насквозь...

Нет, я никогда не позволю себе рецензировать эту книгу или как-то комментировать ее — она не нуждается ни в отметках, ни в похвалах, ни в цитировании каких-то лучших мест, — ее надо просто прочесть, впитать в себя и радоваться тому, что были и есть еще на земле люди, которые незапятнанными прошли все круги гугаговского ада, неся в себе Добро и щедро раздавая вокруг себя... Да простит мне читатель прописные буквы — говоря о Гинзбург и ее книге, я не могу без них.

Я познакомился с Евгенией Семеновной незадолго до ее смерти. В Париже. Мы сидели за вечерним столом, с белоснежной скатертью и всякими хрустальными и фарфорами, и вели светскую беседу о Лувре, Родене, парижских улицах. Первую часть ее "Крутого маршрута" я прочел давно, прочел запоем, но с тех пор прошло лет десять, а то и больше, появился солженицынский ГУЛАг, Шаламов, другие свидетельства и... В общем, говорили мы о Лувре, Родене, были ли вы на выставке Кандинского, обязательно нужно сходить. Ей повезло, прочитай я к тому времени вторую часть, каким градом вопросов засыпал бы ее. И слушал бы, слушал...

Один мой друг, ныне покойный, оказавший незабываемую помощь в литературной моей жизни, сказал как-то не без юмора, но вполне серьезно: "Вы написали правдивую книгу о войне. Не обижайтесь на меня, но чтоб написать вторую такую же правдивую и всем нам нужную книгу, вам надо было бы малость посидеть в лагере..."

Чаша сия, к счастью, меня миновала, и лагерная тема без моих в том услуг, с легкой руки Ивана Денисовича, растолкав всех, заняла подобающее ей место в русской литературе. И в жизни.

Книга Евгении Гинзбург на одном из самых почетных мест.

Я люблю Набокова, Бунина — великих стилистов, — но как благодарен я автору "Крутого маршрута", что избрала она

для повествования самую естественную, самую доходчивую, а потому и самую нужную форму — простого рассказа. Вот так оно было и так я об этом тогда думал. Потому /о памяти ее я уже не говорю, она феноменальна/ рассказ этот, исповедь прекрасны. Другого слова я не нахожу.

...Торопливо вытершись после душа, я хватался за книгу. В автобусе своем я дважды проехал нужную остановку, углубившись в нее же. На пляже вместо того, чтоб любоваться бронзовыми гонолулянками, сжег себе спину, уткнувшись в книгу, забыв, что солнце здесь, хотя и зимнее, но не парижское. Отрываясь порой от книги и глядя все же на изящных гонолулянок, я радовался за них и за тех вот ребят, прыгающих по волнам на своих дощечках, что они и слыхом не слышали ни о Колыме, ни о Магадане, ни о нынешней нашей Потьме и Мордовии. А может напрасно радовался. Надо знать.

Покидая, боюсь, что надолго, Гаваи, я отдал книгу Дэвиду Гранту — студенту, с которым сдружился, и сказал, не боясь внушительности своей интонации.

— Прочти! И передай другому. В этой книге много страшного про мою страну. Не пугайся и продолжай ее любить. Хотя бы за то, что есть еще в ней люди, подобные автору этой книги.

Дэвид выполнил указание. Думаю, что сейчас, а прошло уже больше года, нет на Гаваях человека, знающего русский язык, — а они все же есть, — который не прочел бы ее. И ахнул... А может, она уже и на английском вышла. Я радуюсь за Евгению Семеновну. Ее нет уже с нами. Она ушла из жизни. Ушла, может и рано, но с сознанием выполненного долга. Не всякому выпадает такое. И в Париже тоже удалось побывать, после всех своих Ярославов, Эльгенов и Известковых. Это не последняя из возможных наград. "Нет, Вася, и не заикайся о врачах, — говорила она сыну, — я приехала сюда не лечиться, я приехала в Париж. Дай мне им насладиться". И наслаждалась, она знала, что времени у нее осталось мало.

"И все-таки, — заканчивает она свою книгу, — все-таки я хочу надеяться на то, что если не я и не мой сын, то, может быть, хотя бы мой внук увидит эту книгу полностью напечатанной на нашей родине..."

Ах, как хотелось бы и нам дожить до этого дня.

С Дэвидом Грантом я сдружился по двум причинам. Во-первых, потому что он пошел в армию, да еще во время вьетнамской войны, чтоб немного заработать денег и построить дом своей маме, во-вторых же, потому что он знает об Аверченко и "Сатириконе" куда больше, чем я, русский писатель, — это тема его диссертации. К тому же отличный парень. И вот однажды повез он меня в Жемчужную гавань.

Какие красивые все названия. Алмазная голова — потухший вулкан над Гонолулу, — Золотой залив, Жемчужная гавань... Рисуются пейзажи, один красивее другого. Бриллиантовые россыпи, искатели жемчуга, сокровища индийской бегумы...

Но это не совсем так. Жемчужная гавань — это Пирл-Харбор.

Сорок лет тому назад, в памятный не только жителям Гавай, но и всего мира, день 7 декабря 1941 года, двумя заходами, одним с востока в 7.40 утра, другим с запада через час пятьдесят минут, японская авиация практически вывела из строя крупнейшую базу американского флота в Тихом океане. В этот день началась война между Соединенными Штатами и Японией. Закончилась она через четыре года Хиросимой и Нагасаки.

В первом экстренном выпуске "Гонолулу стар буллетин" от 7 декабря 1941 г. с первой страницы громадными тремя буквами в вас стреляет — "WAR!" — "Война!". И короткое, четыре строчки сообщение Белого дома — "Японцы атаковали с воздуха военно-морские и военные объекты Пирл-Харбора, главной базы Тихоокеанского флота на острове Оаху". Дальше сообщалось, что налеты совершены с двух небольших японских авианосцев. В городе возникла паника, об этом

тоже сообщалось. Из дальнейшего выяснилось, что к нападению на Пирл-Харбор японцы готовились загодя. Разработка операции началась еще в апреле 41 г. Все лето шла подготовка и репетиция на грандиозном макете гавани с точным расположением судов. Двадцать шестого ноября с одного из южных Курильских островов на выполнение задания вышла эскадра из 31 боевой единицы. В их числе не два маленьких, а шесть современных авианосцев — "Акаги", "Кага", "Хирну", "Сорну", "Шокаку" и "Зункану". Их поддержало два линкора, два тяжелых крейсера, один легкий, девять минных истребителей, три подводных лодки и восемь танкеров.

Удар был нанесен из пункта, расположенного в двухстах милях севернее острова Оаху. В первом рейде участвовало 186 самолетов, во втором — 170. Не вернулись на свою базу, как принято называть это в военных сводках, 29 самолетов.

Потери американцев не шли ни в какое сравнение. Повреждены были десятки кораблей /всего на базе их было около 150-ти/, а большинство линкоров потоплено. Среди них "Вест-Вирджиния", "Калифорния", "Шоу", "Пенсильвания" и знаменитая "Аризона". Ее я помню еще с детства, по фотографиям в журнале "Природа и люди". Спущенная на воду 19 июля 1915 года, в 1916 она стала в строй, а в 1918 г. на ней отплыл из Нью-Йорка на Версальскую конференцию президент Вудро Вильсон.

В те годы сверхмощные корабли эти, с ажурными башнями назывались "дредноутами" — в переводе на русский нечто вроде "внушающий ужас". Дважды — в 1920 и 1930 гг. — 31000-тонный линкор был модернизирован и считался украшением американского флота. 7 декабря он был потоплен. Агония длилась девять минут. Вместе с ним погибло 1177 моряков. Тела только 75 из них удалось обнаружить.

Все затонувшие корабли после войны были подняты. "Аризона" осталась на месте своей гибели. Как памятник трагедии. Над ней воздвигнут мемориал.

Туда-то — почтить память погибших — и отправились мы с Дэвидом Грантом.

Сквозь прозрачную воду залива, — рыбки туда и сюда, — виден стальной, могучий, неподвижный корпус. Надводные строения спилены, над водой только два стальных кольца, основания боевых башен. Кружатся, галдя, чайки. Небо пронзительно голубое, с дрожащей дымкой на горизонте. Такое же прозрачное и безоблачное было оно и над Хиросимой, когда я, как и все, ударил специально подвешенной деревянной кувалдой по "Колоколу Мира" — чтоб больше никогда не было войны.

Какой?

Очевидно, под войной подразумевается теперь только атомная. Сколько их было после двух капитуляций — в Потсдаме и на крейсере "Миссури" — и не счесть. Корея, Вьетнам, Шестидневная, Судного дня, между Индией и Пакистаном, Ираном и Ираком, африканские, латиноамериканские, революции, восстания, интервенции, оккупации... Нет дня без войны, без дружеской руки помощи.

Та, что началась здесь, сорок лет назад, стоила Америке трехсот тысяч жизней. По сравнению с двадцатью миллионами наших относительно скромная цифра. Но стоит ли так уж орать на весь мир о цене, которую мы заплатили за Победу? Первые месяцы, дни, даже часы войны показали, чего стоят все эти "Если завтра война" и "Чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому!" Одиннадцать дней — с 22 июня по 3 июля — Верховный Главнокомандующий то ли пил, то ли, уткнувшись в подушку, терзался, кляня последними словами единственного человека, которому он поверил. О начале войны, заикаясь, сообщил согражданам Вячек Бараний лоб или Каменная задница, как называли Председателя Совнаркома друга по гимназии. Только 3 июля вождь, надо полагать, опохмелившись в последний раз, подошел к микрофону. Весь мир понял тогда, как ему тяжело — стакан в руке дрожал, позвякивал, когда он наливал в него воду, в голосе не было столь привычной всем уверенности в своей непогрешимости. В прекрасном изложении одной бабушки-колхозницы, повстречавшейся на пути отступления, речь его звучала примерно

так: "Братики, сестрички! Мне плохо, помогите..." — "Ну что ж, и поможем, — резюмировала бабушка. — А о чем раньше думал?"

Все это было давно, сорок лет тому назад... И в день сорокалетия начала войны, которую мы, большинство участвовавших в ней, называем Отечественной, а кое-кто Второй мировой или войной с фашистами, все мы, оставшиеся в живых, подыдем свои бокалы, или стаканы, или кружки за тех, кто пал на поле брани или погиб в лагерях, — то ли немецких, то ли советских, — думая, что вершат правое дело. Выпьем, крякнем, ткнем вилкой в огурец и тут же нальем по второй... Но никогда эта вторая не подымалась за тех, кто подобно нам, защитникам и не столь освободителям, сколь покорителям — отдавал свои жизни в борьбе с одним и тем же врагом. Нет, никто из нас никогда не пил за американских ребят, погибших где-то в Бирме, на Филиппинах» высаживаясь на берег Нормандии.

Дэвиду Гранту едва ли минул год, когда началась война. Но он участвовал в другой войне, во Вьетнаме.

— Впрочем, какой я участник, — говорил он мне уже потом, когда мы сидели с ним в ресторане где-то на тридцатом этаже и под нами, и рядом с нами дыбились небоскребы Гонолулу. — Корабль наш стоял на рейде в Сайгоне, и не так часто спускали нас на берег. И в армию я пошел, как вы знаете, не из каких-либо патриотических побуждений. Поэтому и в университете застрял. Неловко как-то, в моем возрасте...

Потом мы как-то с ним опять заговорили о войне. Но не получилось. Как и все молодые американцы, он был против вьетнамской войны, я же... Впрочем, трудно, и вряд ли имеет смысл убеждать молодого американца, что надо, мол, воевать в далеком, чужом Вьетнаме с еще более далеким и совсем уж непонятым коммунизмом. Как объяснить? Ведь страшнее и нелепее войны нет ничего на свете. Может, только фанатизм, но и он ведет к войне...

Я воевал, потом, сняв уже погоны, смотрел, как хоронят Неизвестного солдата в Киеве, где высится сейчас памятник Славы, бродил среди белых крестов Вердена, молча стоял у

памятника жертвам Хиросимы, совсем небольшой арки, вокруг которой резвились детишки, и вот сейчас, опершись о перила, глядел вниз, где суетились рыбешки вокруг чего-то громадного, облепленного ракушками, бывшим когда-то страшным, внушающим ужас.

/Говорят, — сам я не читал, но слышал, — что Пирл-Харбор был спровоцирован самим Рузвельтом. Мол, без этого, без столь страшной побудительной причины, Америку никогда бы не заставить воевать. Правда ли это? Страшно как-то подумать.../

Вот тебе и Рай земной... Нет Рая на земле. Нигде!

Конференция кончилась. Я продекламировал свой доклад. Все остались довольны, хлопали, хотя насколько я понял, участники конференции довольно туманно представляли себе, кто я такой, впрочем, так же, как и я — ни одно имя не было мне знакомо. На прощание мы снялись группой — на шею, как принято на этих островах, нам повесили венки немислимо ароматных цветов /я привез свой в Париж, и через две недели он еще пахнул/, и все мы, как положено в таких случаях, улыбались.

Уезжать не хотелось. На два дня я продлил еще свое "дольче фарньенте". В последний день с Леной-скрипачом совершили прощальный тур по Гонолулу. Прошлись по набережной. Поглазели на витрины местного ГУМа — "Хайат-Реженси" /кроме витрин, фонтаны, водопады, пальмы, висячие сады Семирамиды/, посидели в кафе, выпив чего-то легонького и отправились на полинезийский базар — что поделаешь, без подарков домой возвращаться нельзя.

Базар оказался туристски-сувенирным; заработанные деньги пришлось все-таки потратить на коралловые и ракушечные ожерелья, которые, к слову сказать, в Париже произвели впечатление. Опять чего-то выпили под развесистым баобабом, купили напоследок голову пирата из какосового ореха и собирались уже отправиться на пляж, когда я вдруг увидел нечто, приковавшее мое внимание. Чучело очковой змеи,

кобры, и рядом с ней оцетинившийся белыми зубками серенький зверек на задних лапках.

Я застыл. Леня вопросительно на меня посмотрел.

— Это мангуста, — сказал он. — Единственный зверек, которого боится кобра.

— Знаю, — сказал я.

— И в схватке остается всегда победителем.

— Знаю, — повторил я, как завороченный глядя на соперников.

— Не плохо сделано, — сказал Леня.

— Не плохо, — повторил я и посмотрел на цену. Шестьдесят долларов. В кармане у меня было последних сто.

— Вы что? Намереваетесь купить?

— Намереваюсь.

— И почему-то колеблетесь?

— Колеблюсь...

— Тогда покупайте.

И я купил.

Мне упаковали покупку в довольно большую картонную коробку, обвязали веревкой, сделали удобную ручку, и я пересек, бережно неся коробку весь американский материк, а затем Атлантический океан. Сегодня оцетинившаяся мангуста наводит страх на кобру у меня на книжной полке рядом с гавайским божком и высушенной водорослью Тасманова моря.

Теперь раскрутим фильм в обратную сторону.

Гимнастический зал 43-й Трудшколы. Сбор ОСГН — отряда скаутов гимназии Науменко — совсем недавно наша школа называлась еще так.

Торжественная линейка. Мы, двенадцати-тринадцатилетние "кишата" на самом левом фланге. Володя Осьмак, патрульный, подтянутый, тонконогий, в черных обмотках, проверяет амуницию — компаса и связки веревок. Мне же оказана великая честь — доверен посох со значком, треугольным флажком с изображением мангусты, именем которой назван



наш патруль. До каникул эта почетная обязанность поручалась Вале Цупнику, но за лето я его перерос и значок вручили мне.

Я был несказанно горд.

Вчера мы вернулись из похода. Ночевали в палатках в Кирилловской роще, разводили костры, расставили часовых — ночью могли напасть соперничающие с нами ПОКС — Первый отряд киевских скаутов, или ВОКС — Волчий /!/ отряд киевских скаутов. Ни тот ни другой не напали, но было таинственно, тревожно, каждый треск ветки казался неловким движением вражеского лазутчика.

Утром, невыспавшиеся, но переполненные гордостью — ползали в разведку, ходили по азимуту — вернулись в школу. Сейчас, выстроившись в шеренгу, ждали выноса знамени. Потом Коля Свенсон, начальник отряда, сокращенно "Начот", в присутствии директора школы, Александра Федоровича Музыченко — сокращенно АФа — в самой что ни на есть торжественной обстановке, под дробь барабана, должен был вручить нам скаутские лилии. С этого момента мы становились равноправными скаутами.

Начало церемонии что-то затягивалось. Ждали, говорят, задержавшегося где-то АФа. В щели двери показалась голова Коли Грюнера, старшего патрульного. Кивнул Юре Орлову, тот скрылся с ним в коридоре. За ним последовал младший Орлов, Котик. Потом вызвали начальника патрулей. В коридоре явно что-то происходило.

Вернулись патрульные. Володя Осьмак стал возле меня и, не разжимая губ, сказал:

— Сорви значок и засунь в рубашку. Живо!

Я выполнил приказание.

— Посох мне!

Оглянувшись на дверь, он, не выходя из строя, прислонил его к стенке и застыл по стойке "смирно".

Отворилась дверь. Вошли пятеро наших — АФ, Свенсон, Грюнер, оба Орловых, — и двое незнакомцев. АФ был бледен. Незнакомцы — один наголо бритый в кожаной куртке, другой в кепке и в синей косоворотке, — застыли у дверей.

АФ, невысокий, в пенсне, какой-то растерянный, провел рукой по волосам, глянул на Колю Свенсона.

— Смир-но! — скомандовал тот. Мы вытянулись.

— Дорогие друзья, — начал АФ и, очевидно, не уверенный в правильности своего обращения, кашлянул и опять провел рукой по волосам. — Дорогие школьники вверенной мне школы, — голос его дрогнул. — Сейчас начальник отряда прочитает вам приказ по отряду скаутов гимназии Науменко... гм... гм... ныне 43-й Единой Трудовой школы. — И в сторону Коли. — Прошу.

Коля — наш кумир, высокий, широкоплечий, златокудрый, как викинг, — сделал шаг вперед.

— Приказ по отряду скаутов гимназии Науменко, — он сделал ударение на двух последних словах. — Скауты! С сегодняшнего дня по решению вышестоящих властей ОСГН отряд скаутов гимназии Науменко, — опять подчеркнуты эти два слова, — считается распущенным. Всем разойтись по домам. Тихо и спокойно. От своего имени выношу всем благодарность. Спасибо, скауты... — тут его голос тоже дрогнул. — Р-разойтись!

Обычно, после этой команды мы превращались в веселое, буйное стадо. Сегодня, ошарашенные, онемевшие, потоптавшись, поодиночке стали выходить. Начальство и те двое куда-то растворились, мы не заметили, когда и куда. Проходя мимо и не глядя на меня, Володя Осьмак тихо сказал:

— За мангусту отвечаешь головой... Жди указаний.

Валя Цупник, мой друг, шепнул — "Вечером у меня". Я вышел в коридор, свернул в вестибюль. У входа на улицу стояло двое. Не те, другие, помоложе. Сейчас они увидят вздувшуюся мою рубашку и один из них положит мне руку на плечо и скажет "Именем.." Кого? Не короля же, а кого?

Но никто меня не остановил, не положил руку на плечо, не посмотрел даже в мою сторону. Стало обидно.

Колю Свенсона — викинга, красавца, любимца нашего — я больше никогда не видел. Когда его арестовали, не знаю,

но из лагеря он не вернулся. Колю Грюнера, отсидевшего свое, я встретил через сорок лет. Он тоже был рослым и красивым, сейчас же стал белым, как лунь. Но такой же подтянутый, стройный. Работал инженером, увлекался яхтой, в свои семьдесят... В мае каждого года приглашал к себе — у него на Лукьяновке был изумительный сиреневый сад. Не с кустами, а с деревьями. После визита к нему мой дом тоже превращался в сад.

Уже здесь, на Западе, я узнал, что Коля погиб. Во время туристского похода на Кавказ. Переплывал бурную речку и то ли утонул, то ли свалившись камнем убило. Как-то не верится. Не мог Коля утонуть. Он все умел преодолевать. Даже лагерь...

— Володя Осьмак сказал вам: "Жди указаний!" Вы дождались?

— Дождлся... Но все это было уже не то. Раза два или три наш патруль собирался у него на квартире. Однажды мы даже в поход пошли. Собрались где-то за городом в установленном месте, пошли в лес. Но костров уже не разжигали, возвращались домой, озираясь по сторонам. И не было Коли Свенсона, и лилий мы так и не получили... На смену нам пришли "юные спартаковцы", "юные ленинцы". Теперь они называются пионерами. Знаете, что это такое?

— А как же! Я был пионером.

Мальчика, сказавшего это, я давно уже заметил среди остальных ребят — повыше, бойчее, с пробивающимися уже усиками.

— Ты что, недавно из Союза?

— Ага...

— Ну вот и прекрасно, расскажи ребятам про пионерскую жизнь.

— А что рассказывать? Тоска собачья... Все больше об отметках. За тройку, я не говорю уже о двойках, прорабатывали...

— А что это значит "прорабатывали"?

Спросил кто-то из заднего ряда, и мы с бывшим пионером переглянулись и рассмеялись.

Все это происходило в Мельбурне. На нашем языке это называлось когда-то "сбором". Скаутский сбор, слет. В пригородном доме ихнего "начота" собрались русские скауты. Для встречи с бывшим скаутом из России. Славные, симпатичные ребята. А форма... Даже сейчас, через столько лет, я с завистью смотрел на нее. Эх, нам бы такую! Как мечтали мы тогда о стетсоновских шляпах с полями, защитных рубашках с карманами, широких кожаных поясах с карабинами, на которых болтались бы перочинные ножки с четырьмя лезвиями и всякими там шилами, отверточками, пилочками... Я до сих пор застываю перед витринами охотничьих магазинов, где столько финок, кинжалов, ножей, одного заманчивее, блестящее, острее...

/В доме Тычинских, на Любартовской, 24, в Люблине, доме, который я часто навещал из госпиталя, где кормили меня обедами, и какими, на стене в детской комнате висела финка. Та самая, о которой я мечтал с детства, — острая, как бритва, с костяной рукояткой, в кожаных ножнах. Я пускал на нее слюну, но мои намеки до хозяев почему-то не доходили. В последний день, придя прощаться, я зашел в детскую комнату, долго смотрел на финку. Может взять? А? Минута терзаний и... не взял. Слава Богу! А был на грани.../

Недавно из Мельбурна в письме пришла ко мне скаутская лилия. Австралийских русских скаутов. Маленькая, очень изящная, с Георгием Победоносцем и "Будь готов!". Через пятьдесят с чем-то лет с того самого дня, когда мне ее должны были вручить, но не вручили, я прикрепил ее к борту своего синего пиджака с золотыми пуговицами, который на языке знатоков называется "блазер". Очень красиво, очень идет.

Всю жизнь задавал себе вопрос /да и сейчас задаю/, почему в Ленинграде до сих пор стоят цари? Почему не снесли? Ни Медного всадника, ни другого, перед Инженерным зам-

ком — "Прадеду правнук", ни "Колокольчик" — Екатерину Великую, ни даже такого уж плохого Николая — "палкина" перед Исаакием? Только Александра III, на площади Восстания, заменили Ильичом /знаменитое "Пугало", на мой взгляд, одна из лучших работ Паоло Трубецкого, до сих пор терпеливо ютится во дворе Русского музея/. Во всех городах снесли, а в колыбели сохранили /в Киеве, кстати, Александр II тоже скучает, опершись на шашку, во дворе Русского музея/. Что это, мудрость и упорство Зиновьева, первого ленинградского вождя? Что-то не верится. Но вот стоят же, тираны и кровопийцы...

В Гонолулу тоже в самом центре города стоит король. Почему-то в римском шлеме и тоге, но только черный. Это Камехамеха I, родоначальник династии, покоривший в конце XVIII века все племена и посадивший себя на престол. После него было еще четыре Камехамехи — II, III, IV, V. В честь их, их жен и последующих королей и королев, названо чуть ли не половина всех улиц Гонолулу. А ведь последнюю из королев Лилиуокалани американцы просто скинули /кажется, даже процесс ее был/, а райские острова аннексировали. Есть такое слово — аннексия — "присоединение той или иной области или края к другому государству, не основанное на формальном акте отречения прежнего короля" /Б. и Э., т. II/. Что побудило к этому американцев — то ли нехватка сахара и ананасов в метрополии /тем и другим Гавай славятся/, то ли удобная стоянка флота в самом центре Тихого океана, но на современном языке это называется колониализмом, и его принято теперь стыдиться.

Американцы почему-то не стыдятся, превратили острова в 50-й штат и, насколько я понял, жить в этом штате вряд ли хуже, чем в добровольно вошедших в созвездие равных Советского Союза Литве, Латвии или Эстонии... Не берусь судить /не защищать же мне колониализм!/, но особого уныния на лицах нынешних гавайцев я не обнаружил. Скорее наоборот. Хотя, разумеется, королеву Лилиуокалани мне очень жалко. Впрочем, умерла она в глубокой старости,

в собственном доме, став простой Лидией Доминис, по имени своего мужа-американца.

Все это я узнал, сидя в самолете Гонолулу—Сан-Франциско и листая небольшую брошюру "The women of old Hawaii" — "Женщины старых Гавай", не до конца все понимая, хотя и пользуясь карманным словариком.

Понял я, во всяком случае, что женщины Гавайских островов всегда были красивы и музыкальны, к тому же принимали активное участие в управлении государством. Со страниц брошюрки смотрели на меня темнокожие, широконосые, губастые дамы в декольте, диадемах, кружевах и орденах, и, говорят, каждая из них принесла какую-то пользу своим подданным-островитянам — та госпиталь открыла, та школу, а та была ревнительницей старинных обычаев — хула — ночного священного танца при кострах..

Были у них свои "тайны мадридского двора". Камехамеха IV, например, приревновал свою жену Эмму к собственному секретарю Генри Нильсену, и как-то ночью, предварительно крепко выпив, пришел к нему домой и выстрелил из дуэльного пистолета. Неоправившись от ран, Нильсен вскоре умер, вслед за ним при невыясненных обстоятельствах и четырехлетний наследник Альберт. Через пятнадцать месяцев, морально раздавленный постигшими несчастьями, умер и сам король.

Редчайшей красоты, говорят, была принцесса Каиулани, племянница и наследница последней королевы Лилиуокалани. Глаза ее — большие, черные, печально-задумчивые — покорили в свое время Роберта Луиса Стивенсона, и он посвятил ей поэму. По отцу она была шотландкой, мать же царских кровей, принцесса Мириам Ликеликс.

Неисповедимы пути господни. Завершись нормальным браком роман "принцессы павлинов" /она любила птиц, в частности павлинов/ с неким японским принцем, судьба островов сложилась бы, возможно, иначе. Но брак не состоялся, и в возрасте двадцати четырех лет красавица-принцесса, опять-таки при загадочных обстоятельствах, скончалась.

Все это я вычитал в брошюрке из тридцати страничек, а прочитай я трехтомный труд Ральфа Куикендала "Гавайское королевство" или "Историю Гавай, рассказанную королевой Гавай", той самой, последней, я бы мог поведать еще много интересного, но книг этих я никогда в жизни не прочту, поэтому на истории так любившихся мне островов поставим пока точку.

Да и жизни моей райской, гонолульской пришел конец. Раненьким декабрьским утром отвез меня Дэвид Грант на аэродром. Обнялись, пожелали друг другу успехов, я вручил ему "Крутой маршрут", он мне баночку гавайского меду, подарок матери, и мы расстались. "Серебристая птица взмыла" — внизу проплыли небоскребы, гавань, Уайкики /а вон и отель "Шератон", у подножия которого я расстилал свои полотенца/. Алмазная голова, вдали жемчужный Пирл-Харбор — и через три с чем-то часа приземлилась в аэропорту Сан-Франциско.

Умереть, не повидав Сан-Франциско, нельзя. Особенно нам, киевлянам, затаившим глубокую обиду на город, вырвавший у нас славу красивейшего в мире.

Так красивейший или нет? — жду вопроса. — По праву ли получил первую премию на каком-то там конкурсе "мастеров"?

Не таясь, отвечу — ну, конечно же, Киев красивее всех, что там говорить, но, как человек объективный, не буду вступать в спор ни с одесситами /"А наша лестница с дюком?"/, ни с ленинградцем /"Невы державное течение, береговой ее..." Знаем, знаем, и про гранит, и про Достоевского/, ни даже с самим собой, ныне парижанином /"Пройдитесь по мосту Александра III, в час заката..."/. Но, если говорить все же о Сан-Франциско, скажу с присущей мне правдивостью — таки да! /Простите киевский акцент, я все же киевлянин.../

На этом бы, на этой констатации /против правды не попрешь/ и кончить бы о Сан-Франциско. Как и о Нью-Йорке ничего нового не скажу. После всех Джек Лондонов и мил-

лиона других книг, да еще пробыв там жалкую какую-то неделю, что я скажу о нем нового?

Но есть одно — вернее, два, — о чем умолчать не могу. Первое — пусть и мелочь /во всяком случае, на фоне небоскребов Ап-Тауна/, но для меня существенная, а, главное, трогательная. Речь идет о милом, таком уютном, более чем архаичном, неистребимом /хотя именно за архаичность чуть не был упразднен/, бесконечно оказавшимся милым моему сердцу — знаменитом сан-францисском трамвайчике.

Крохотный, неторопливый, карабкается он себе по крутым улицам города /чуть не сказал Фриско — жители города презирают это название, это позволяют себе только туристы/, и не упомянуть о нем не могу.

Я люблю трамваи. Возможно, потому что их становится все меньше и меньше. Особенно люблю женеvский — номер 12-й, — первый в Европе и единственный, сохранившийся в городе /В Киеве был первый в России, и мы этим очень гордились./ Я люблю этот трамвай, тренькающий допотопным звонком, возвращающим в детство /о, где вы паровозные гудки?/, удобный, полупустой, как-то по-особенному гудящий на заворотах. Но есть у него соперник. И серьезный. Это и есть сан-францисский, совсем крохотный, в забавных старомодных рекламах, всегда набитый до отказа, увешанный гроздьями пассажиров. Площадки там открытые /как у нас в свое время в Киеве — господи, никак не избавлюсь от параллелей/, и на них, на ступеньках, держась на одной ноге, вцепившись немеющей к концу пути рукой за поручень, а иногда за открытое окно, висят — нет, не герои, — а куда-то всегда торопящиеся американцы, жители этого славного /да-да!/ города. Ну, и туристы.

И я повис, как в школьные годы на восьмом номере, всегда опаздывая на занятия. Одной ногой упершись в ступеньку, а рукой уцепившись за что-то или кого-то. И так проехал весь путь. Снизу доверху.

Ах, какое это удовольствие! И в детство окупился, и испытание выдержал. И даже билета не купил — какой рукой полезешь в карман — не в зубах же держать монету...

Трамвайчик — первое, о чем не смог умолчать. Второе — мост. Да-да, тот самый, знаменитый. Golden Gate — Золотоворотский, как называли бы его киевляне /есть у нас остатки ворот XI века и жалкий скверик вокруг/, тысячекратно прославленный и красующийся в миллионах открыток и изданий. Тем не менее и я осмеливаюсь воспеть его!

Есть в нем нечто, сразившее меня. Нет, не размеры, не легкость, не ажурность, не ввысь устремленные арки /ню-йоркский Веразано-бридж не меньшее чудо техники/, а нечто более возвышенное — дружба его с туманом.

Сан-францисский туман — особый туман. Он не сплошной, а рваный, подползающий, стекающийся, клубящийся. В силу каких-то там природных условий /токи воздуха с Залива в Океан или наоборот — не знаю/ он незаметно подкрадывается к мосту и обволакивает его. Снизу, сверху, сбоку, со всех сторон, а то и совсем скрывает его. И вот, когда мост начинает вдруг появляться, то тут, то там, то одной аркой, то другой, а вокруг клубы чего-то белого, сизого, розового, а сверху миллион чаек, и солнце, то восходящее, то заходящее, а сквозь это еще и город с уступами, сталагмитами небоскребов — вот тогда...

Любимая фраза людей, выдающих себя за знатоков искусства — "Часами могу стоять перед Мадонной Рафаэля!" Чушь! Десять минут максимум, и то, когда кругом пусто, чего никогда не бывает, а вот пред Голден-гэтом...

В этом поминутном рождении чего-то нового — цвета, арки, пробегающего внизу парходика, в самих клубах тумана /кто из английских гениев, кроме Тернера, любил туманы и облака? — знатоки, подскажите/, в этом и есть то наслаждение, которое вызывает созерцание...

Клод Моне, воскресни! Приезжай в Сан-Франциско!

После Сан-Франциско был Нью-Йорк. Но о нем ни слова. Слишком много там сейчас русских, новых, свеженьких /и газеты свои стали даже издавать!/, чтоб я отважился с ними соперничать своими поверхностными впечатлениями. Поштался с недельку по городу желтого дьявола, встретил там

Новый год, сел в самолет и через шесть часов оказался в Париже.

Я не заметил этих шести часов. Я читал. Читал книгу, которой и закончу свое повествование. Читал не отрываясь. Запоем.

Мигом проглатывал приносимые мне изящным стюардом яства и опять в книгу. Плюя на кино, над сиденьем собственная лампочка. Я читал...

"... Сталин подошел к радиоле и начал ставить пластинки. Русские песни, грузинские. Потом он поставил, значит, танцевальную музыку и начали танцевать. Единственный признанный танцор был у нас Микоян, Анастас Иванович, но все танцы его, и русские, и кавказские, брали свое начало с лезгинки. Танцевал, значит. Потом Ворошилов танцевал. Танцевали все. Я никогда ног не передвигал, из меня танцор "как королева на льду", но я тоже танцевал. Каганович танцевал. Танцор тоже не более высокого класса, чем я. Маленков тоже такой. Булганин когда-то танцевал, видимо, в молодости. Он русское что-то вытапывал в такт. Сталин тоже танцевал — что-то ногами передвигал и руки расставлял. Тоже, видно, человек никогда не танцевал... Насчет Молотова... Тот уже был танцором, так сказать, городским. Я не знаток, но в моих глазах он был, так сказать, танцор первого класса, значит...

Пели хором. Пели, значит, подпевали пластинкам, которые заводил Сталин. Я бы сказал, что настроение было хорошее".

Вот так, дорогой ты наш волонтерист, проводили вы, оказывается, время. Отмывали горячей водичкой кровь с рук и к товарищу Сталину ножками топтать, под пластинки танцевать...

Кто-то еще сомневался в подлинности записей Хрущева. У меня никакого сомнения. Читал и слышал его голос, его интонации, узнавал все эти "значит" и "так сказать". Читал, и мурашки по спине пробегали. Как будто бы все знаю, видел, пережил, но вот, оказывается, не все.

"...Тимошенко попросил меня, чтоб я присутствовал на одном заседании военного совета. Я упирался. К этим делам Сталин очень ревниво относился, если кто-нибудь из членов

Политбюро, как он говорил, влезал в военные дела. Ну, Тимошенко доказывал мне, что там вопросы нашего Киевского округа стоят, и я как член Военного совета он просил меня, чтоб я присутствовал, и посмотрел, как решаются эти вопросы. И я в конце концов согласился.

Председательствовал Нарком Ворошилов. Там были главные персоны — Кулик, Мехлис, Штеменко и другие. Но они ничего не решали, решал Ворошилов. Не припомню фамилию начальника штаба — старый военный, еще с царских времен. Меньшее влияние имел Мехлис, хотя и пробойной силы был и с большим удельным весом в глазах Сталина. Штеменко тоже считался человеком, но он был сумасшедшим человеком. Кулик тоже честный человек, но он был глуп. Поэтому на том заседании Тимошенко и хотел, чтоб я посмотрел, что это за спектакль, который проводился под руководством Ворошилова. Я просто не знаю, с чем это можно было сравнить, потому что это были люди, которые не признавали друг друга, каждый по-своему горячился, кричал, стучал кулаком, Ворошилов отвечал тем же самым и вопросы не решались..."

А ведь пели же мы, пели — "С нами Ворошилов, первый красный офицер!" И "ворошиловскими стрелками" были, сто из ста выбивали.

Пятьдесят второй год. Сталин надумал вдруг собрать съезд. Девятнадцатый. То, что пишет о нем Хрущев, ни в какие рамки не влезает. Цитировать не буду — только одну фразу приведу, в которой как в капле воды...

"...Одним словом, значит, партия, Центральный комитет, никакого не принимал, так сказать, коллективного руководства. Все делалось от ЦК и единолично Сталиным, значит. Президиум ЦК, значит, подписывал. Это все Сталин. И он даже не спрашивал членов Президиума, значит, а... так принимал решение и публиковал, значит..."

Нет, не буду комментировать. Скажу только: книга Хрущева — документ века. Подобного не знало человечество. Но как же равнодушно, более того, с каким недоверием отнеслось оно к этому бестселлеру, продиктованному полугра-

мотным человеком, более десяти лет царствовавшим в нашей стране.

Хорошо, согласимся, не самый плохой из всей шайки — все-таки XX съезд, разоблачение Сталина — но как подумаешь только, что человек этот за всю свою жизнь только две книги прочитал — Н. Рубакина, популяризатора, в юные еще годы, и какого-то поэта Махино — в тупик становишься. Даже ты, всезнающий. Исключением был бы, очевидно, только св. Фома Аквинский, который сказал, что не может верить человеку, который прочел только одну книгу. Никита все-таки две. /К слову, после упоминания в каком-то своем выступлении об этом Махине, все бросились искать его и обнаружили какие-то стишки в донбассовской многотиражке. И сразу же переиздали. А самого поэта и след простыл, так и не обнаружили.../ Никита, бедняжка, признавался /кажется, Корнейчуку или Малышко, которого нежно любил/: "Поверьте, очень люблю читать, но за день так намаешься, что вечером возьмешь книжку, на второй минуте засыпаешь. А читать очень люблю, ей-Богу..."

И никто его уже не вспоминает. А если вспоминает, то только с приставкой "кукурузник". И могила его на Ново-Девичьем сиротливо одинока и букетика цветов на ней даже нет. А ведь не только зло делал...

И напоследок, томясь, всеми заброшенный и забытый, у себя на даче, решил вот на такой отчаянный шаг — тайно продиктовать то, что не выветрилось окончательно из склерозирующей памяти. Потом, правда, отрекся, отверг вражеские инсинуации в "Правде", но дело сделал.

Документ века — я не боюсь этого утверждения. Рассказ о подготовке и ведении позорной войны с Финляндией, или о первой реакции Сталина на договор с Гитлером /"Обманул-таки его... Обманул!" / стоит того, чтобы их исполняли и записывали на пластинки чтецы ранга Журавлева или Шварца... Я сам в кругу друзей, чуть подвыпивши, позволяю себе маленькую радость — читать вслух Хрущева.

В переводе, книга, конечно, не звучит. Теряется весь аромат, если это слово в данном случае применимо — но я бы

положил ее на стол Рейгану — очень полезное чтение. Сквозь дебри безграмотного трепа просвечивает столько правды, и такой страшной...

Я кончил читать. Самолет начал снижаться. Через десять минут Руасси, аэропорт Шарль де-Голль. Я сунул маленькую желтенькую книжечку в карман и...

Нет, не могу я на этой трагической, вернее, трагикомической ноте /клоунады хватало в нашем дорогом и любимом/ кончать свои записки.

Концовка должна быть все же мажорной. Поэтому предлагаю на прощанье, чтоб не осталось горького осадка, совершить со мной небольшую прогулку. Прогулку по Парижу. Он стоит того, лучший, прекраснейший город мира. А Киев, Киев? Сан-Франциско?! Нет, лучший и прекраснейший город, город моего детства и, надеюсь, последних дней моей жизни, — Париж!

Я приглашаю вас в парк Монсури...

В дни моего детства это была самая окраина Парижа, между Порт д'Орлеан и Порт Жантйи. Дальше шли "Ле фортиф" — фортификации — остатки валов и фортов времен обороны Парижа в горестную Франко-прусскую войну. Сейчас здесь Университетский городок, бульвар Журдан. А тогда, когда я лепил в парке бабки из песка, на пустыре, под валами занимались шагистикой солдаты. "Ле пуалю", как в годы первой войны они назывались, были еще в красных шароварах и кепи /кажется, после Марны только спохватились и нарядили всех в голубое/ и мы, детвора, млели, глядя на них, а если еще подхватит да подбросит вверх, тут и слов не хватало...

Нас было трое. Тотошка, Бобос и я. Пас нас Тотошкин папа — Анатолий Васильевич Луначарский, тогда еще эмигрант, парижский журналист. Жили мы все в одном доме на рю Ролли, 11. Было нам года по четыре. Папа писал свои статьи, сидя на скамеечке под платанами, а мы лепили бабки, возились, дрались, кормили уток в пруду, "лэ гага", как мы их называли.

Тотошка погиб на фронте в Новороссийском десанте, Бобос — один из крупнейших советских кинодокументалистов, лауреат множества премий, я же брожу, вот, по дорожкам парка Монсури.

Детская память что-то сохраняет. Рю Ролли, 11, угловой дом. Вот то, по-моему, наше парадное. Захожу. Очень крутая, витая лестница. Не помню. А то, что на углу была лавочка, где я покупал конфеты, помню. И то, что прилавок становился все ниже, все легче и легче было протягивать свою монетку, тоже помню. Сейчас какая-то контора, сверкающие витрины.

Вход в парк был не с угла, как теперь, а вон там, чуть подалее. Сохранился. Налево будет пруд. Есть! И детский чей-то лепет — лэ гага! И "лэ гага" — вот они, плавают, ныряют. До чего ж хорошенькие — с зелеными шелковыми головками, и пестрые, и белые, и черные с белыми головками. И папы и мамы сидят, читают, что-то пишут, а ребятня галдит, бросает крошки в пруд...

В конце пруда должен быть маленький театрик — "гиньоль" — марионетки. Господи, есть! Крохотная сценка и три-четыре ряда лавок. Открыт по субботам и воскресеньям. С трех часов. Сегодня, увы, четверг...

Ливанский кедр. Разлапистые, мохнатые ветки. На нем табличка — ему 80 лет, — почти мой ровесник! — и высотой он 18 метров /во мне, увы, только метр семьдесят/...

Каскад с площадкой наверху — скульптура, какие-то негры несут убитого льва — не помню. Мостик через RER — скоростное открытое метро — вторая часть парка. Красивый парк и детворы полно. На чем-то раскачиваются, с чего-то скользят, гоняются друг за другом, ревут...

Присел, закурил среди детворы и мам. Одна из них, черненькая, изящная, раскачивает коляску, покуривая под каким-то обелиском. На обелиске в медальоне чей-то профиль и полустертая надпись.

"Памяти полковника Флеттерса, — с трудом разбираю я, — главы исследовательской группы по строительству транссахарской железной дороги и его компаньонов, — даль-

ше идет шесть фамилий — врача, инженера, лейтенантов, — погибших в Африке от руки туарегов 16 февраля 1881 года..."

16 февраля 1881 года... А сегодня 13 февраля 1981...  
Через три дня будет сто лет!

Я приду в этот день сюда. Придет ли еще кто-нибудь?

Мы с приятелем шли выпить по кружке пива. К нам подошел молодой человек и с нерусским акцентом спросил, где бы он мог купить несколько пачек чая.

— Чая? — удивились мы.

— Да. У нас, в Праге, плохо с чаем.

— А вы из Праги? Турист?

— Нет. Еду в отпуск.

Оказывается, инженер, работает на строительстве чего-то в Новочеркасске и... Короче, вместо пива мы взяли, к великому удивлению продавщицы, бутылку шампанского и тут же, в сквере, распили ее.

— Когда твой самолет?

— В пятнадцать тридцать.

— А в Праге когда будешь?

— Через полтора часа...

— Ладно... Иди тогда за чаем. За Главпочтамтом налево есть специальный магазин "Чай" и через полчаса будь здесь. Есть маленькое дело.

Через полчаса мы встретились.

— Вот этот вот букетик, — это были, кажется, пионы, — положи, пожалуйста, на могилу Яна Палаха. От двух русских.

У чеха показались слезы.

— Обрати когда будешь?

— Через две недели.

— Позвони. Обязательно. Вот телефон.

— Есть.

Мы посадили его в такси, — на рейсовый автобус он уже опоздал, — а сами пошли по Александровской, ныне почему-то Жданова, вверх, в Липки.

У памятника Славы, могилы Неизвестного солдата ни молодоженов, ни туристов — еще рано. Вокруг пламени лежат

венки. На один из них мы положили наш второй букетик. В универмаге, на углу Ленина, купили три ленточки — красную, синюю и белую — цвета чехословацкого флага — обвязали ими букетик, а между цветов всунули записку: "За нашу и вашу свободу".

Назавтра записки уже не было. Букетик лежал. Он пролежал дней десять, не меньше, с ленточками, честь-честью, никто его не трогал.

Через две недели позвонил чех. На этот раз было уже не шампанское, а нечто более крепкое.

— Рассказывай...

— Положил ваш букетик. Совсем свежий, не завял. Я его мокрой тряпкой обернул... На кладбище не пустили. Вернее, к могиле. Охраняют... Я пошел на Вацлавскую площадь. К памятнику королю Вацлаву. На то место, где Ян сжег себя. Ходит часовой. Я подошел и говорю: "Тут двое русских просили положить эти цветы сюда. Можно?" Парень, солдат, посмотрел на меня, ничего не сказал, повернулся и отошел. Я положил цветы. Через два дня пришел, проверил. Лежат...

В понедельник, 16 февраля я пришел в парк Монсури. К обелиску. Пусто. Обед. Две тетки, типа консьержек, оживленно что-то обсуждают.

Нет, никто не вспомнил в этот день полковника Флаттерса и его компаньонов...

Цветов я не нашел. Понедельник, все закрыто... Сорвал, рискуя быть оштрафованным, веточку чего-то зеленого с красными ягодками и другую, вроде остролистника, и положил к подножию обелиска.

Был солнечный, яркий, почти весенний день. Парижане обедали.

И опять не получилось мажорной ноты. Где она? Где ее искать? Пошел искать в детство, а напоролся на смерть. И забвение...

Мажор! Я ишу тебя, откликнись!



Может, ты в Польше? У подножия трех крестов в Гданьске? С якорями вверх. Вера и Надежда...

Во что верить? На что надеяться?

В силу духа? Солидарность?

Верю и надеюсь.

## ЭПИЛОГ

Зачем он? Поставил точку, "point final", как говорят французы, и принимайся за новое.

Да, но у большинства великих писателей есть эпилог. В "Войне и мире" больше ста страниц, даже из двух частей, с диалогами. А в "Преступлении и наказании" в самом конце сказано нечто вроде обещания, что "тут же начинается новая история", которая "могла бы составить тему нового рассказа, — но теперешний наш рассказ окончен".

— Но то у великих, — скажут мне, — классиков, у них и действие, и сюжет, и герои. А у вас...

— Ни сюжета, ни героев, согласен. И никто меня не спросит, как, например, Тургенева: "А что же стало потом с Лаврецким? С Лизой?" А он, хитрец, так и не ответил. Встретились, мол, потом в дальнем монастыре. А что подумали, что почувствовали? Разводит руками — "Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в Жизни, такие чувства... На них можно указать — и пройти мимо".

— Все писатели хитрецы и обманщики, но...

— Но никто их за обман, утайку, недоговоренность не судит /судят за другое, знаем/, а все же какие-то точки над какими-то i ставить иногда надо. Для этого и пишутся "Театральные разъезды", эпитафии, обычно последнее, что придумывается автором...

— Да, но "Театральный разъезд" был написан через шесть лет после "Ревизора", а с эпитафией, дорогой Виктор Платонович, вы поступили несколько экстравагантно, цитируя самого себя...

— Вот-вот-вот! Именно потому что, переплыв Катона, я начал со своего "Карфагена", хочу, считаю даже необходи-

мым /и не только для композиции/ им и закончить. А то, что вы, ссылаясь на классиков /и противопоставляя, очевидно, их пишущему эти строки/, говорите что-то о сюжете и героях, то отвечу вам без утайки — в предлагаемых записках не много, но два героя все же есть — сам автор и тот, другой, о котором говорится в последних строках "Севастополя в мае" — "Герой же моей повести, которого люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен — правда..."

— Простите, но это более чем нескромно. Дело даже не в параллели, а в том, что рассказывать правду о войне несколько сложнее, чем о гавайских пляжах и австралийских верандах, А то, что вы где-то между ними, ухватившись за каких-то французских альпинистов, покрикуете слегка и издалека /из Парижа!/ некую осточертевшую вам и опять же далекую от вас сейчас систему — стоит ли так уж этим хвастаться? Вы ж сами говорите о Распутине, Чуковской, Войновиче — им есть, что терять. А вы чем рискуете?

— Ничем! /Удар в самую точку. И все же, вытирая кровь, шпаги не бросаю./ Ничем! А может, именно этого больше всего мне и не хватает. Больше, чем оставленных дома друзей... Поговорим же об этом. Поставим же другие точки над другими i.

Риск... Опасность... Перестанут печатать. Выгонят из Союза, из партии. Месяцами будут таскать по партследователям, парткомиссиям. Не исключена и психушка, тюрьма.

Кроме последних двух возможностей, испытал все. Наказан эмиграцией.

А может вознагражден?

Вот тут и подсовываю свой "Карфаген"... Объездил, облетел пол земного шара. Повидал чужие края, моря, людей, коал. Испробовал все виды колбас, осетрин, акульных плавников, sake и водок — даже непальскую "Ruslan Vodka" отведал, с двуглавым орлом на этикетке. Живу в Париже. В любую минуту могу застыть перед "Джокондой" или роденковским "Мыслителем". Купить, кроме "Правды", "Плэй-бой" с голыми девочками /мой друг отказался взять с собой в

Москву, подаренную ему мною, богато иллюстрированную "Интимную жизнь животных".../, сходить на идущую уже седьмой год на Шанз-Элизе полупорнографическую "Эманюэль" или на "Печки-лавочки" /последний, четвертый или пятый раз смотрел в кинозале ООН, в Женеве/, наконец, могу тут же, сейчас же, в этих записках, раскритиковать французского президента — уму непостижимо /советскому, во всяком случае/, какое количество карикатур появляется ежедневно во всех французских газетах.

Да, вознагражден! И наградой этой пользуюсь. Как только могу. Но нечто, наградив меня, у меня отняли. Весьма существенное для человека пишущего. Лишив гражданства /с опозданием, правда, на пять лет/, лишили права на риск — назовем это так. Чтоб писать и печататься, мне не нужна столь старательная выштудированная мною нелегкая школа литературной эквилибристики. Не надо больше быть жонглером, фокусником, чревовещателем /ну, не из чрева, между строк/, канатоходцем /случается вместо каната и лезвие ножа/, не надо хитрить, говорить полунамекками, вставлять ненавистное "порой" и "иной раз" /"встречаются отдельные случаи злоупотребления алкоголем..."/, обманывать ЛИТ, балансируя между ним, редактором и самим собой. Ничего этого теперь мне не надо. Все выученное, отработанное в этой школе циркового искусства здесь, где я сейчас живу, котировается куда меньше, чем диплом московского мединститута, если ты врач... В результате, мышцы без тренировки становятся вялыми, рефлексы замедленными, заторможенными. Риска никакого. Упадешь, так на матрац, кости целы. Высшая мера наказания — "К большому нашему огорчению вынуждены вернуть вам рукопись. Примите уверения в глубочайшем нашем уважении..."

Схватки на поле брани, вот чего не хватает. Мне не хватает просмотрового зала в здании Главного Политуправления Советской Армии на улице Фрунзе...

Зал маленький, генералов много. Все в орденах и планках. А один даже с маршальской звездой — начальник Политуправления Голиков. Все мрачны и надуты. Принимается карти-

на "Солдаты". После первой части маршал демонстративно покидает зал. Полтора часа гробовой тишины. Реакции никакой, посапывание. Зажигается свет. Перекур. Мы с Александром Гавриловичем Ивановым — режиссером фильма — в полной изоляции.

Кончается перекур, начинается погром. Один за другим генералы подымаются на трибуну... Картина вредная, искажающая действительность, оскорбительная для славной нашей, героической Красной армии. Вариаций в выступлениях никаких. Хор единодушен.

Один из генералов, весь в "Суворовых" и "Кутузовых", переходит грань.

— Фильм более чем лживый. Где вы видели таких оборванцев, босых, полуголых, какими изображает автор нашу армию, пусть даже в дни вынужденного отступления? Шайка бандитов. Где вы видели в нашей армии пьянство? Лакают вино прямо из бачка. Что это за судилище над начальником штаба, который требовал выполнения приказа? Картина клеветническая от начала до конца. Более того — контрреволюционная!

Последующее оказалось неожиданным для меня самого. Я взял слово.

— Думаю, товарищи генералы, что полуголых и босых бойцов вы не видели по той простой причине, что на "Виллисах" своих вы были уже в глубоком тылу... И вина из бачков не хлестали, потому что предпочитали ему трофейный коньяк "три звездочки".

Краткое выступление свое я закончил словами, которыми безмерно горжусь:

— Вас, товарищ генерал, позволившего себе обвинить автора и режиссера, кстати, активного участника Гражданской войны, в создании контрреволюционного фильма, прошу принести сейчас же, здесь же формальное извинение! — и после паузы. — Товарищи генералы, вы свободны. Можно закурить...

Лучших минут в моей жизни не было. Генерал извинился, пробормотал что-то невнятное.

/Картина вышла на экраны. Потом была снята Жуковым. Потом опять появилась. Говорят, и сейчас иногда показывают./

Еще один эпизод. Я уже писал о нем. Как тов. Подгорный перебивал меня на одном из идеологических совещаний, где от меня требовали покаяния, и что-то не получилось. Он недоумевал, откуда я знаю, что Михайловский собор был снесен и, откровенно говоря, поставил меня в тупик. Другой руководитель — секретарь ЦК тов. Скаба — тоже перебил меня — весьма распространенный прием, чтоб сбить с толку.

— Вот вы все говорите, тов. Некрасов, о новом реализме и забываете, что вы писатель советский и реализм у нас социалистический.

Я вынужден был поправить тов. Скабу.

— Ни о каком новом реализме я не говорил, такого просто не существует. А говорил я о неореализме, определенном течении в итальянской кинематографии, оказавшем весьма существенное влияние и на нашу... И второе — прошу меня впредь не перебивать. Когда вы выступали, я вас не перебивал.

В кулуарах мне потом жали руки, озираясь по сторонам. Такое поведение на трибуне в нашей стране приравнивается к безумию. Безумству храбрых поем мы песню!

Схваток ему не хватает. Ну и ну... дожил до седых волос, в любую минуту, сев на метро и пересев на "Конкорд", может оказаться в Лувре. Вот и ходи по тихим залам, послав к черту всех этих мудаков-генералов, выживших из ума Подгорных и Скаб /где они сейчас?/, пиши о прекрасном, о вечном...

Ха-ха! А вот и напишу!

Один очень уважаемый мною писатель упрекнул меня в том, что записки мои мало чем отличаются от Бедекера. Упрекнул, чудак, не зная, что сокровеннейшая мечта моя именно Бедекер, написать "Бедекер по Парижу". По МОЕМУ Парижу. И напишу — обещаю! И прочитавший его не пожалеет — кое-что там будет, чего не знает иной даже истый парижанин.

Вторая мечта — детектив. Ориент-экспресс с королями-инкогнито, прекрасными авантюристками и шпионами, увы, уже не существует. Но в сентябре обещают пустить в Лион новый сверхэкспресс. Может же там произойти таинственное убийство... Но это уже после Бедекера, после Парижа.

А схваток все же не хватает, поверьте мне. Очень не хватает. И хождения по лезвию ножа тоже. Именно там, балансируя на этом лезвии, в полной мере ощущаешь ты значение каждого слова. Оно на вес золота. И случается, звучит набатом.

---

#### ТИПОГРАФИЯ

**NATIONAL WEB PRESS'**

принимает заказы

на все виды типографских работ —

книги, проспекты, брошюры, плакаты, буклеты—

одноцветные и многоцветные

Адрес: 2800 South Main Str., Unit D, Santa Ana, Ca. 92707

Tel. (714) 966-0874

(714) 646-7747

---

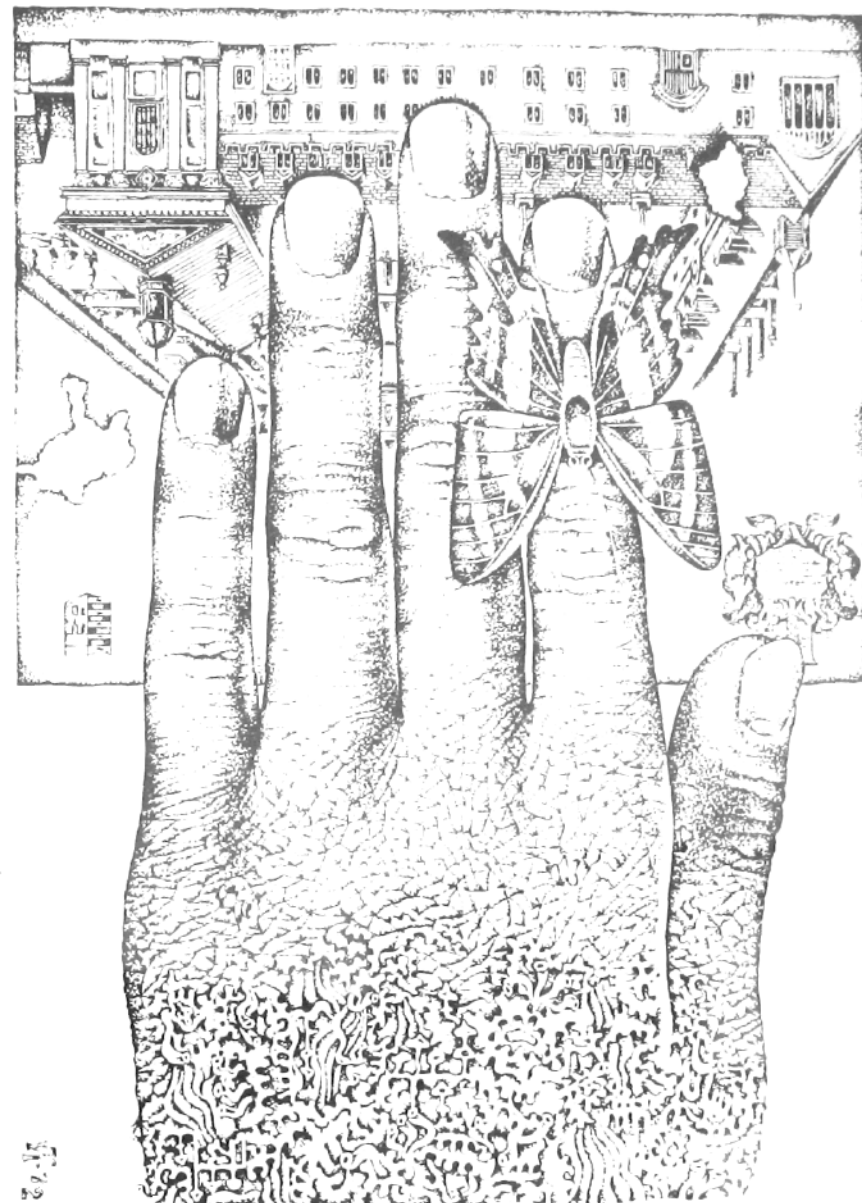
## УКРАДЕННАЯ ТРЕТЬ ДУШИ

Ниже мы еще предоставим слово Игорю Тюльпанову, с некоторыми работами которого редакция знакомит читателя. История этих работ столь же необычна, сколь и печальна. Но вначале краткая биографическая справка. Родился в Ленинграде 12 января 1939 года. С 1958 года по 1963 год Ленинградский политехнический институт. Затем знакомство с Н. П. Акимовым и крутой поворот судьбы: Тюльпанов поступает в Ленинградский институт театра, музыки и кино и заканчивает его в 1968 года. После смерти Акимова творческий вакуум и все более настойчивая мысль об отъезде. 1978 год. Вена. С собой художник везет единственную ценность — чемодан со своими работами. В день приезда в Вену чемодан крадут. В сущности украдена часть души, и для художника эта утрата окрашена неким мистическим смыслом. Вот его собственные слова:

— "Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло..." — нет, не хотелось бы начинать новую жизнь с этих слов, но в ту мистическую венскую ночь 78-го года, когда исчез чемодан, где аккуратно были упакованы треть души, десятилетний труд и потенциальная возможность скорой свободы, ничего не приходило в голову, кроме трех этих слов: "Австрия", "авария", "Августин". Что касается того, что все "прошло, прошло", то реальность, действительно, испарилась: перелет из Петербурга в Вену, надежда на счастливое утро и ожидаемое очарование, — одно идиотское ощущение слабости, от которого избавлялся в России долгие годы и, наконец, избавился, вновь приотпало и прилепнуло /как наивно и просто русские выживают там, где другие становятся мучениками!/. Прошло два с половиной года с той бессмысленно печальной ночи. Никогда не возникало желание грезить о том, что было бы, если бы не... Главное было повторить исчезнувшее, в неповторимости которого заключена своя неповторимая духовная ценность. В прошлом году матушка прислала мне из Петербурга несколько фотографий /достаточно плохих, чтобы ими пользоваться/ — несколько оставшихся "зримых зерен" от того самого исчезнувшего. А в чемоданчике было немало: пять маленьких натюрмортов и написанное с таким трудом эссе об одном из них /"Розовая чашка"/, 41 иллюстрация к сонетам Шекспира, акварельные листы к гениальным стигматам Бобышева, несколько самостоятельных рисунков тушью... Когда вы будете рассматривать представленное здесь, на делайте никакой оценки, ибо то, на чем держится весь смысл и правда, заключены в изысканной мимолетности самого оригинала.

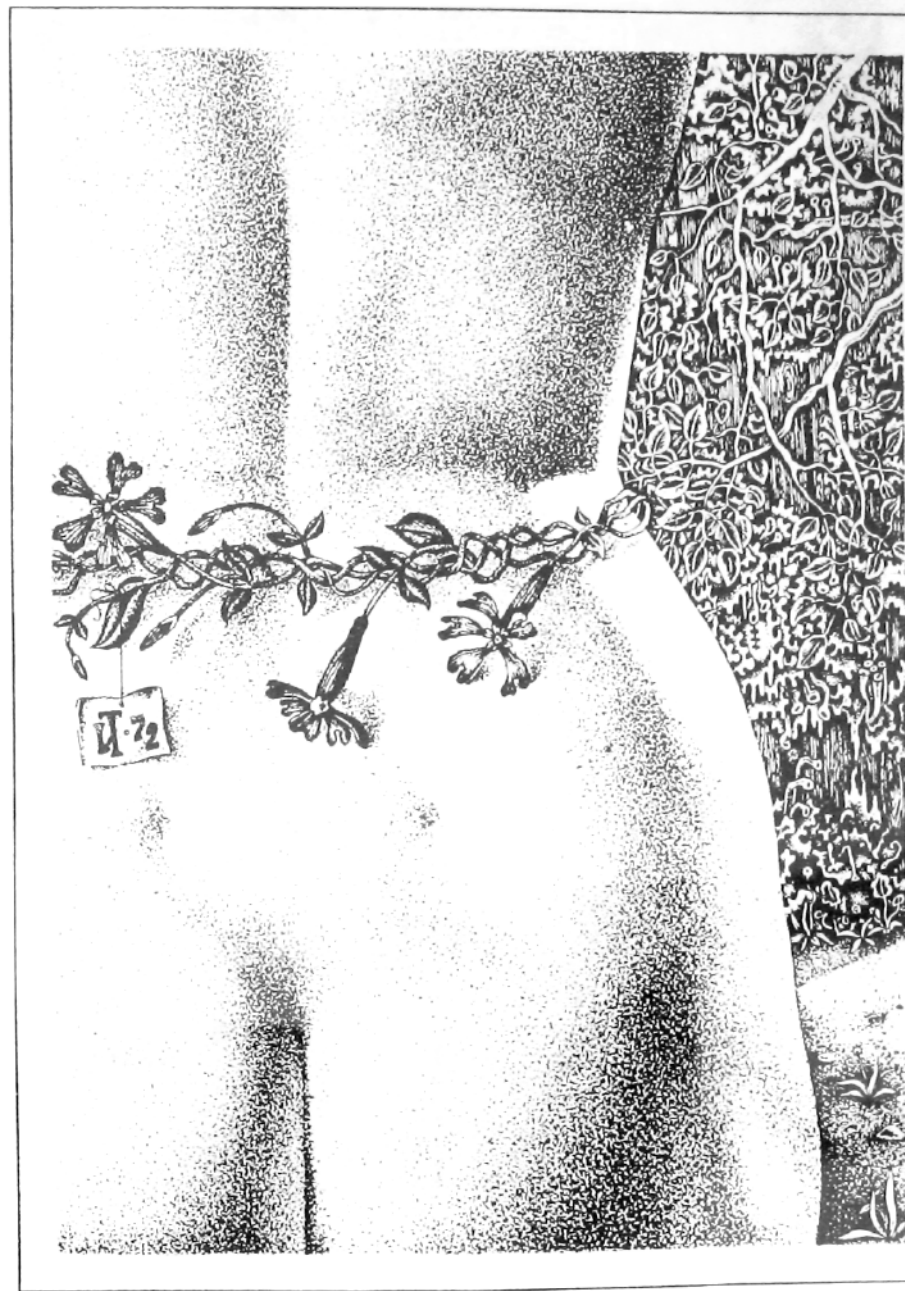
Тюльпанов надеется, что придет время и "все всплывет", и он заранее полон благодарности к тем, кто это сохранит. А пока он работает, может быть, даже тщательнее и упорнее, чем прежде: 7—8 месяцев на каждую вещь! Тогда как их "галерейная жизнь" /в галерее Эдуарда Нахамкина/ чаще всего ничтожно коротка. Вот и сейчас почти все распродано. Почитатели ждут следующей выставки, но кто в состоянии предвидеть, когда она состоится.

В. ПЕТРОВСКИЙ





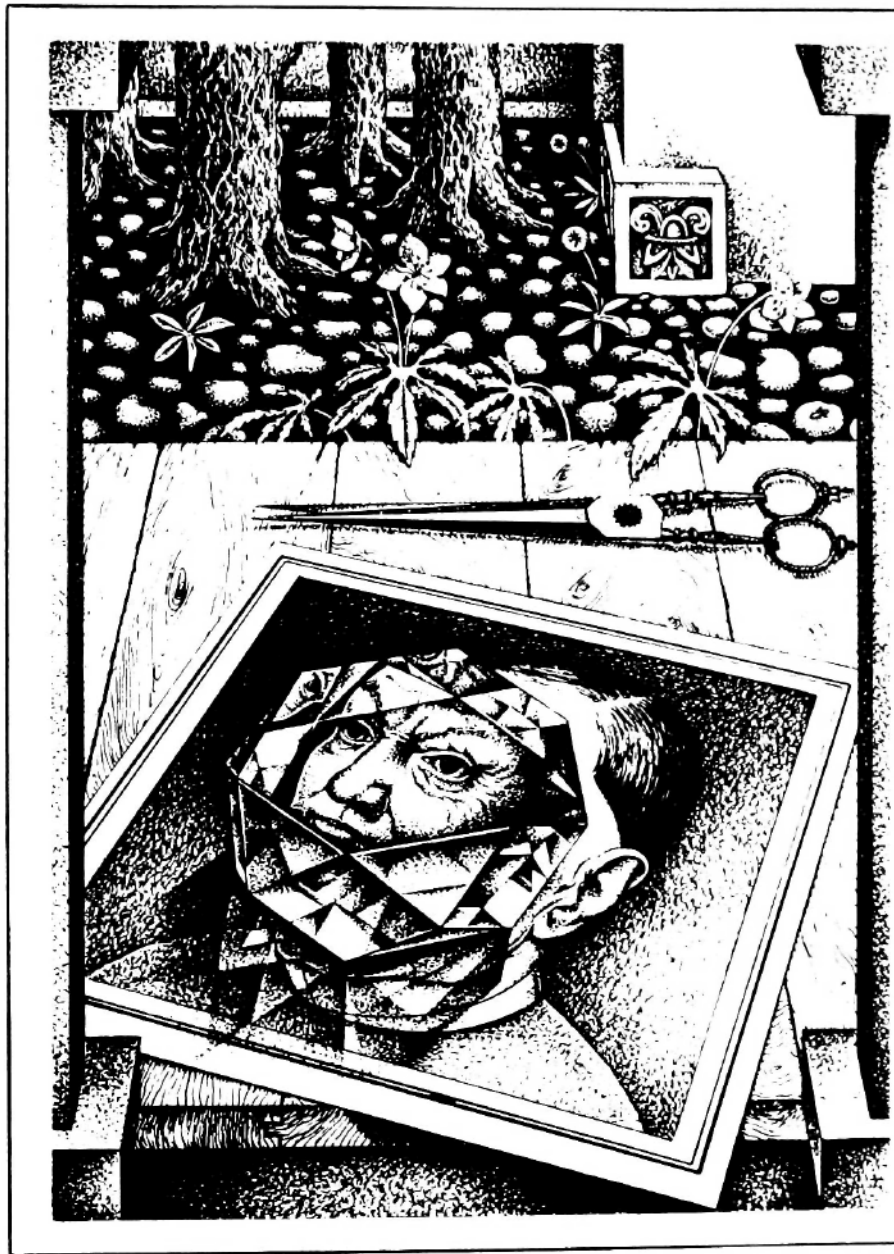
К сонетам Шекспира



К сонетам Шекспира



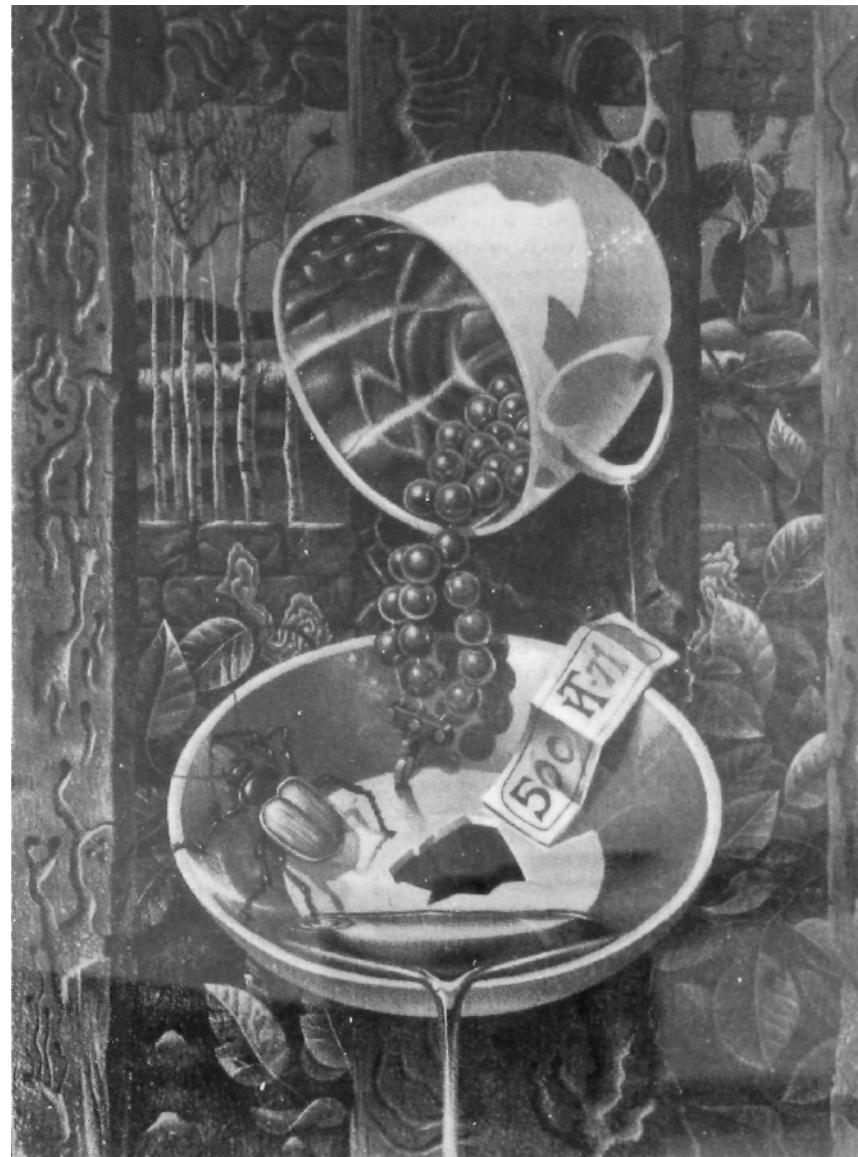
К сонетам Шекспира



К сонетам Шекспира



Натюрморт



Натюрморт

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**Филипп БЕРМАН.** Родился в 1936 году, в Москве. В 1959 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал на стройках мастером, прорабом, в различных проектных и научно-исследовательских институтах. В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию. Выступал с рассказами с 1960 года. В конце семидесятых годов написал романы: "Предисловие", "Пятьдесят второй год", "Регистратор", повесть "Машина", пьесы "Эстакада над оврагом", "Белый город" и другие. Весной 1980 года совместно с писателями Николаем Климентовичем, Владимиром Кормером, Евгением Поповым и другими принял участие в создании независимого от Союза писателей "Клуба беллетристов" и издании альманаха "Каталог" подвергнувшегося репрессиям со стороны московского КГБ. В 1981 году эмигрировал в США.

**Александр ТУЧКОВ.** См. журнал № 58.

**Леа ГОЛЬДБЕРГ.** Выдающаяся израильская поэтесса /1911—1970/, была доктором филологии и профессором литературы Иерусалимского Университета. Автор романа, ряда пьес и многих литературоведческих трудов. Перевела на иврит "Войну и мир" Льва Толстого, романы Алексея Толстого "Сестры" и "Восемнадцатый год", "Пер Гюнт" Генриха Ибсена, стихи Ахматовой, Рильке и мн. др.

**Юрий ИОФЕ.** Родился в 1921 году. По профессии математик. Работал в Москве преподавателем, научным сотрудником, редактором физико-математической литературы. В мае 1972 года эмигрировал в Германию, живет во Франкфурте-на-Майне. В Совестком Союзе почти не публиковался. На Западе опубликовал около сотни стихов и несколько прозаических произведений.

**Дора ШТУРМАН.** Филолог и историк. Заместитель главного редактора журнала "Время и мы". Родилась в 1923 году на Украине. В 1944 году была осуждена на пять лет за исследование творчества нескольких поэтов, связанное с рассмотрением некоторых сторон советской действительности. После освобождения закончила университет и преподавала русский язык и литературу. Одновременно занималась исследованием ряда фундаментальных проблем советского строя. В Израиле с начала 1977 года, в настоящее время работает в Иерусалимском Университете. Дора Штурман — автор многих публицистических статей, опубликованных в западной печати и получивших широкую популярность среди читателей.

**Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ.** См. журнал № 50.

**Петр ВАЙЛЬ.** Родился в 1949 году, по образованию журналист, работал в Риге в республиканской газете. Эмигрировал в 1977 году, работал в газете "Новое русское слово", в настоящее время — в еженедельнике "Новый американец". Живет в Нью-Йорке.

**Александр ГЕНИС.** Родился в 1953 году, по образованию филолог, работал в Риге в городской газете. Эмигрировал в 1977 году, работал в газете "Новое русское слово", в настоящее время — в еженедельнике "Новый американец". Живет в Нью-Йорке.

**П. Вайль и А. Генис** пишут вместе. Печатались в журналах "Континент", "Время и мы", "Эхо", "Третья волна", газетах "Новое русское слово", "Новый американец".

**Виктор НЕКРАСОВ.** Родился в 1911 году, в семье врача. В 1937 году окончил архитектурный факультет Киевского строительного института. Одновременно учился в театральной студии при Киевском театре русской драмы. Работал актером и художником в театрах Киева, Владивостока, Ростова-на-Дону. С 1941 по 1945 год был на фронте. Участник Сталинградской битвы. В 1946 году выходит первая повесть Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда". Его повесть и рассказы публиковались в журнале "Новый мир" и выходили отдельными книгами. После опубликования очерков "По обе стороны океана" писатель начал подвергаться жестокому политическому преследованию и вынужден был эмигрировать из СССР. В настоящее время Виктор Некрасов живет в Париже. Уже на Западе Виктор Некрасов опубликовал ряд произведений, получивших широкую известность: "Записки зеваки". "По обе стороны стены", "Из дальних странствий возвратись" и многие другие.



---

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" - 1981 год

*УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:*

Стоимость годовой подлиски — 39 долларов, с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции: "Time and We", 594 Chestnut Ridge, Road Orange, Conn. 06477. USA

Стоимость подписки в Израиле — 320 шкалим, с целью экономической поддержки журнала — 350 шкалим. Заказы и чеки высылать на адрес израильского отделения журнала "Время и мы": Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав. отделением Дора Штурман-Тиктина).

Стоимость подписки во Франции — 200 Ф. Фр., с целью экономической поддержки журнала — 220 Ф. Фр. Подписка осуществляется по адресу главной редакции в США, а также во французском отделении журнала "Время и мы".

Стоимость подписки в Германии — 89 нем. марок, с целью экономической поддержки журнала — 110 нем. марок. Подписка осуществляется по адресу главной редакции в США, а также у представителя журнала в Германии.

Во всех других странах подписка осуществляется по адресу главной редакции, а также у представителей редакции.

Стоимость подлиски авиапочтой в США — 78 долл., во Франции — 400 Фр.. в Германии — 178 нем. марок.

---

"ВРЕМЯ И МЫ" - 1981 ГОД

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия .....

Имя .....

Адрес .....

Подписной период .....

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на ..... год. Высылать с номера .....

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись .....

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу: "Time and We", 594 Chestnut Ridge, Road Orange, Conn. 06477. USA

Оплата через представителей журнала осуществляется в соответствующей иностранной валюте.

---

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по их поводу редакция в переписку не вступает.

**Главная редакция журнала "Время и мы":  
594 Chestnut Ridge, Road Orange, Conn. 06477. USA**

**Printed By NATIONAL WEB PRESS, 2800 South Main  
St., Santa Ana, CA 92707**

Художник Юрий Красный

Художественный и технический редактор Виктор Добров

OCR и вычитка - Давид Титиевский, декабрь 2010 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки: Игорь Тюпьянов "Натюрморт"**

